



Карой
Сакони

Дивное лето





Карой
Сакони
*Дивное
лето*

Рассказы

Перевод
с венгерского



Москва
«Радуга»
1982

С15 Сакони К.

Дивное лето: Рассказы. Сборник./Пер. с венг.
Составл. и предисл. Е. Малыхиной.— М.: Радуга,
1982.— 192 с.

И (Венг.)

В сборник видного венгерского писателя, новеллиста и драматурга, вошли его лучшие новеллы: их характерные черты — живой напряженный сюжет и острая моральная проблематика. Широко и многогранно отражен в них сложный духовный мир нашего современника.

© Szakonyi Károly, 1980

© Magvető könyvkiadó, 1979

© Составление, предисловие и перевод на русский язык, кроме произведений, обозначенных в содержании знаком *, издательство «Радуга», 1982

С $\frac{70304-057}{030(01)-82}$ 85-82

4703000000

Человек, отзовись!

Карой Сакони родился в 1931 году. Он один из самых видных новеллистов и драматургов нынешней Венгрии.

К тридцати годам, когда вышел в свет первый сборник его рассказов («Посреди — облака»), он успел повидать и испытать в жизни немало. Над его двенадцати-четырнадцатилетней головой прогремела война, потом занялась новая эра, нежданная и радостно обнадеживающая. Довелось ему затем отслужить в народной армии, начать учиться в университете и оставить его, окунуться в рабочую жизнь, овладеть специальностями текстильщика, потом деревообделочника. Непринужденный и легкий в общении, какой-то естественно скромный, нешумный, этот крупный русобородый человек свободно вписывался в любую среду, а его светлые внимательные глаза умели видеть, сердце — сопереживать и запоминать. Таков он и ныне, двадцать лет спустя, известный своей стране писатель — автор многих сборников новелл, а также повестей, драматических произведений, очеркист, эссеист, постоянный объект дружеского внимания критики.

Уже самые первые отклики, рецензии на произведения Кароя Сакони отметили особенную чуткость молодого писателя к духовной жизни современников, его «одержимость» проблемами социальной нравственности, решительное неприятие всяческой фальши, душевной сытости. И сейчас, в ретроспективе его творчества за два десятилетия, отчетливо видно, как нерасторжимо переплетаются в нем две главные линии, основной музыкальный лад всего творчества: огромная доброта к человеку и гневный протест, непримиримость к бездушию, черствости, эгоцентризму обывателя. Так и хочется сказать: чеховская доброта, чеховская же нетерпимость. Конечно, эпоха другая, и литература, и, самое главное, устройство общества — все это стало другое. Но именно Сакони сам называет Чехова сразу же, едва заходит разговор о его становлении как писателя. И совершенно ясно, что дело тут не в пресловутом, заезженном учебниками «влиянии». А в определенной близости душевного склада, созвучности самых сокровенных помыслов о главнейшем: что есть истинный человек, зачем живет он на свете, в чем его нравственная сила и в чем — погибель?

Сакони знает, верит, утверждает всем своим творчеством: человек живет для добра. Для того, чтобы сделать что-то полезное в жизни — для людей, вместе с людьми. Оставить добрый след на земле. «Нет ничего приятнее, как сделать что-то самой, и сделать на славу», — говорит героиня рассказа «Ноч-

ная смена». Только это, подчеркивает Сакони, дает истинное душевное удовлетворение — чувство, знакомое только Человеку. Только это рождает «детское чувство гордости». «Это вообще очень необходимое чувство — детская гордость. Оно чистое. Свежее, как рассвет». Так заканчивается рассказ. Тема остается в творчестве писателя надолго. В различных модификациях — навсегда, должно быть.

Трудовая чистая гордость — характерное для лирического героя Сакони чувство. Оно органически чуждо высокомерию, заносчивому превосходству, больше того, оно предполагает и в другом человеке то же чувство внутреннего достоинства, чести. Иначе говоря, оно активно. Сакони умеет увидеть его и там, где обычно ничего подобного не ищут: в самом деле, ради чего совершает свой ежевечерний подвиг воздушный акробат, летая на головокружительной высоте? Он никогда не скажет этого прямо и вслух — во-первых, не привык о таких материальных говорить, во-вторых, не позволит настоящая, непоказная скромность, — но, наведенный на тему, все же даст понять: ему хочется, чтобы люди, видя его, понимали, что человек способен победить собственную слабость, чтобы они испытали прекрасное чувство гордости за человека — вообще за человека («За городской чертой»).

И при этом они совсем не наивны, герои Сакони, с их упрямой верой в Добро. Чего только не видел старый официант из «Летнего ресторана» на долгом своем веку — это ясно и нравственному его антиподу, алчному и душевно пустому молодому коллеге (вот кто действительно *наивно* алчен и бездуховен!), — но он не унижает себя иссушающим сердцем недоверием к людям. «Летний ресторан» — один из интереснейших рассказов молодого Сакони. Его ткань прозрачна и внешне бесхитростна, факты просты и вроде бы непреложны, но увидены они двумя принципиально разными людьми — и вот конец рассказа: молодой корыстолюбец торжествует — еще бы, ведь его подозрения блистательно подтвердились (клиент старика все-таки сбежал не заплатив!), — но его торжество не чисто, унижительно для него же. Победа нравственная — за стариком, который, почти сознательно проиграв в частном случае, сберег в себе душу. Оттого и умеет он радоваться жизни, ощущать красоту грозы, дышать полной грудью — помнить и множить добро.

Тревожный мир сотрясаемого катаклизмами конца XX века в творчестве многих писателей заострил тему одиночества. Важна она и для Сакони. Можно сказать, что он находится с нею в постоянном единоборстве. Не уступает, не смиряется, но, видя трагедно одиночества — многих и разных одиночеств, — ищет истоки этого грозного явления. И как же часто находит их в душевной глухоте, в роковой потере способности понять внутренний мир другого, даже очень близкого человека. «Все мы отчаянно жаждем, — говорит он в одном из рассказов, — чтобы на путях нашей жизни рядом с нами всегда был кто-то, во всем на нас похожий, во всем с нами единый». Жаждем... Эта жажда душевного единения светло и печально звучит в коротком, но необычайно искусно построенном рассказе «Альберт и его жена». Отчетливо слышна она и в одиноком

монологе врача, беседующего в новогоднюю ночь со старинным семейным портретом («Зимой»). Так ли непреложна была горькая разлука тех, что в сиянии первой любви глядят на него из потускневшей от времени рамы? И правда ли, что «другой», тот, что всегда рядом, должен быть «во всем на нас похожим»? Зачем? Разве не вернее иной путь — вглядеться сердцем в душу «другого», *признать* ее и тем сродниться.. Та изображенная на портрете семья распалась жестоко, необратимо. А не то ли происходит сейчас в жизни глядящего на старый портрет человека? Сумеет ли, захочет ли он разорвать порочный круг?

Сакони не дает ответа на столь прямой вопрос. Он вообще не охотник ставить, как говорится, точки над «i». И это отнюдь не литературный прием: не сознательное, щекочущее нервы умолчание, а скорее призыв к читателю вместе подумать о том, что и почему в жизни бывает, ну, и как могло бы все обернуться, конечно.

Новеллы Сакони — всегда темы для размышлений о главном в человеческих отношениях, в жизни. «Кажется, мне сподручней всего,— сказал он недавно в одном интервью,— именно в рамках новеллы отображать широчайший поток развития, столь свойственный сейчас нашей жизни,— по тому или иному характерному мгновению бытия запечатлевать человека в процессе его формирования. Именно новелла, на мой взгляд, наиболее удобна для того, чтобы, ограничив себя каким-либо незначительным (с виду незначительным!) эпизодом, поведать о важнейших движениях души человеческой и о совершающихся в ней изменениях». В самом деле, вот его рассказ «Ночная смена», уже упоминавшийся: он действительно «запечатлеывает человека в процессе его формирования», когда героиня, поставленная перед решением, какой избрать путь в жизни, впервые осознает неясную прежде и ей самой правду о себе — острую потребность быть пужной людям. В рассказе «Inter arma» мы наблюдаем становление характера молодого воина, за одни сутки пережившего и личную драму и острое, счастливое чувство товарищества, чувство солдатского своего долга, которое станет ему опорой на перепутьях жизни.

Но не только к добрым росткам в душах людей внимателен, чуток писатель. С годами его все больше тревожат те злые сорняки, что там и сям произрастают на людской ниве. Он видит многое, но мучительней всего ощущает человеческое равнодушие — поистине, он мог бы тоже воскликнуть со страстью: «Бойтесь равнодушных!» Это они, равнодушные, тупо попустительствуют злу, насилию, жестокости и сами способны стать палачами при виде непохожего на них — чужого, пусть безобидного, но непохожего на них человека («Чужой на горе»). А рассказ «Все торопятся по домам» — уже откровенная притча об обывательском равнодушии ко всему и вся, из-за которого человек перестает быть человеку братом, не видит ран ближних своих. Сакони в рождественский вечер «являет» людям Христа. В его контексте это отнюдь не религиозный, но чисто нравственный символ, параболическая метафора.

Сакони не только лирик. В Венгрии и в широком мире он хорошо известен своими яркими сатирическими комедиями. Две

из них — «Телевизионные помехи» (1970) и «Парик из Гонконга» (1973) — с успехом ставились и у нас многими театрами страны. С веселым и злым азартом Сакони дает в них бой обывательщине, дешёвому снобизму, чванству, «вещизму». В повеллистике его эта сторона проявляется реже, но рассказ «Два Петре», безусловно, даёт о ней некоторое представление.

Постоящий сборник слишком невелик, чтобы показать творчество Кароя Сакони во всем его интереснейшем диапазоне. Но пусть эта книга станет первым знакомством с выдающимся венгерским новеллистом, обладающим, помимо всего прочего, тем поразительным чувством стиля, которое вырастает лишь на реальной почве живого разговорного языка: он равно свободно и непринужденно «думает» за бесхитростного паренька-сержанта («Inter arma») или за изощренного в рефлексии интеллигента («Зимой»), ведет рассказ от лица старой крестьянки («Посреди Земли») или другой доживающей свой век несчастной и недоброй старухи («Брат и сестра»), воспроизводит манеру, интонации, жаргон молодых «потребительниц», одурманенных кинесудьбами и беспомощно барахтающихся во всамделишной жизни («В самом разгаре»). Сакони хорошо знает жизнь, знает своих героев, их силу и слабости и упорно зовет человека к осознанию себя, своего высокого назначения на земле.

Е. Малыгина

Летний ресторан

— Гроза собирается! — сказал молодой официант и, заложив руки за спину, взглянул на небо.

Солнце окаймляло серебром низко плывущие облака. Лучи пробивались словно сквозь сеть мелких трещин в стекле.

— Душно, — сказал второй официант, пожилой, но еще крепкий человек со спокойными, добрыми глазами.

В посыпанном красной гарью дворике ресторана посетителей было всего трое: слева, за столиком молодого официанта, сидели влюбленные, а у самого входа, на участке старика, потягивал пиво одинокий мужчина.

Было около четырех часов пополудни.

— Никакого оборота, — заметил молодой официант. Он носил гладко зачесанные на косой пробор волосы и аккуратные маленькие усики. На виске, под тонкой кожей, едва заметно пульсировала жилка. — Если и дальше так пойдет, я уволюсь.

— Сильная гроза собирается, — сказал старик, отгоняя салфеткой ленивую муху.

Оба официанта были в белых пиджаках и в рубашках с отложными воротничками.

— Черт бы побрал эту грозу! — злился молодой. — Считай, день кончился!..

— А дождь-то нужен. Полям очень нужен дождь.

— Чихал я на поля. Посетителей не будет!

— Странно... — сказал старый официант. — Ведь я когда-то любил грозу. В детстве... Какие грозы бывали!.. Темень, будто ночью, небо гремело так, что страшно... Полыхали молнии — синие-синие. Мне нравилось слушать, как гнулись и стонали деревья под яростным ветром. Ливень начинался внезапно, все исчезало за сплошной пеленой дождя... Я стоял на крыльце один. Тяжелые капли выбивали лунки в земле... Я любовался

величием грозы, наслаждался ледяным воздухом... А какая стояла тишина! Только шум дождя да раскаты грома!..

— Не знаю, чем тут было любоваться и наслаждаться!

— Сам не знаю. Не помню... Гордился я, что ли.

— Гордился?

— Да. Наверно... Уже не помню, но мне кажется, я чувствовал гордость.

— Надо же,— сказал молодой.— А я вот ненавижу грозу. Обязательно намочит или заработок унесет.

— Я тогда ни о каком заработке еще не думал, мальчишкой был.

— Вчера тоже ничего не заработали.— Молодой зевнул. От духоты кровь прилиwała к голове. Зевая, он подошел к столику, поставил на место стул.— Нет бы заглянуть к нам этакой развеселой компании!..

— Посетителей маловато,— согласился старик, когда молодой официант вернулся,— ну да не беда. Люди, видимо, строятся.

— Строятся?

— Каждый мечтает о собственном домике. Здесь, на окраине, совсем как в деревне. Все хотят обзавестись своим домом.

— Н-да,— буркнул молодой.

— Экономят. Такое уже бывало. Один начнет, и все остальные за ним. А придерживают деньги, конечно, больше женщины...

— Еще как придерживают.

— И пускай себе строятся. Хоть дома поставят. А то ведь пропьют без толку.

— Н-да... Так ведь наш карман плачет! — возразил молодой.

— Перебьемся.

— У тебя что, денег много? Нет уж, лучше пускай пьют. По мне, пусть упиваются да сорят деньгами, тут-то мы и заработаем. Я вот квартиру надумал купить! А стоит это дело будь здоров!

— Не надо, чтоб упивались. Нехорошо это. Когда очень уж пьют, значит, не так что-то...

— Зато мы кошелек набьем!

Старик усмехнулся:

— Только о себе думаешь.

— Каждый только о себе думает.

Старик не ответил, посмотрел на небо.

— Тучи все собираются!

— Не верю я, чтоб кто-то там о других думал. Не верю в чудеса и в добрых людей.

— А ведь ты молодой...

— Много я всякого видал. Да и поездил! И на востоке был, и на западе... Люди везде одинаковые.

— Неодинаковые.

— А я говорю — одинаковые. Покажи мне хоть одного бессребренника, про каких в книжках пишут, в Библии или в газетах... а? Святых, брат, не бывает!

Старый официант принюхался, поднял голову.

— Вот-вот хлынет... — сказал он и пошел собирать скатерти.

Черные тучи надвигались со стороны гор, нависали над домами.

— Тот тип расплатился? — спросил молодой, когда они сошлись у служебного столика. — Вон тот, у входа.

— Он счета еще не просил.

— Дождешься, как же. Смотри, экая морда хитрая. Уставился в кружку — у него, видите ли, мировая скорбь, — а сам только и норовит улизнуть. Сколько он выпил?

— Три кружки.

— Три кружки! Ну, меня бы он не провел! Вон молодые, за моим столиком, люди все попримичнее, я и то их рассчитал. Сказал, гроза вот-вот начнется.

— Нельзя так. — Старик помрачнел. — Обида ведь.

— Вот те на! Зато с моими деньгами не смоются.

— Не всякий же смоеется, — сказал старик. Он аккуратно складывал скатерти, складка в складку, даже примял слегка, чтоб не топорщились.

— Не всякий, да ведь никогда не знаешь... Мои выпили по яичному ликеру, а девушка еще и малиновый сок. Хорош бы я был!

Резкий порыв ветра пронесся над двориком, взметнул на улице пыль. Через миг зашумели кроны деревьев.

— Уйдет этот тип, вот увидишь. — Молодой достал из никелированного портсигара сигарету, размял ее, прикурил. — Ты стреляный воробей, не понимаю, зачем даешь себя обьегорить.

Старик кончил складывать скатерти, протер глаза — ветром надуло гаревой пыли. Туча уже закрыла все небо.

— Надо верить людям.

— Верить? — Молодой официант рассмеялся, стряхнул пепел. — В наше время — верить?

— И в наше время, и всегда! Иначе все гроша ломаного не стоит...

— Громкие слова!

— Вовсе не слова.

— Я верю только себе! — Парень усмехнулся. — Да и то не всегда.

— Вот и плохо.

— Стареешь, — сказал молодой. — Старики любят уминичать. Они как дети. Или еще хуже.

— В этом нет ничего обидного, — тихо ответил старик. — Дети умеют радоваться даже тому, что взрослых только раздражает. Они еще не думают о выгоде. А старикам она уже ни к чему...

— Да живешь-то ты все же на деньги! Гляди, сейчас улепетнут твои три кружки!

Мужчина за столиком стал посматривать на небо и на выход. Официанта все не подзывал.

— Ну? — Молодой взглянул на старика.

— Да никуда он не сбежит, — пробормотал тот.

— Увидишь, сбежит! Спорим?

— Спорить не хочу.

— Ага! Значит, спорить боишься!

— Не боюсь. Просто не хочу.

— Не хочешь, потому что боишься. Только и всего!

Ветер усилился. Сверкнула молния, и тут же раздался раскат грома. Молния, должно быть, ударила неподалеку. Тучи сгущались.

— Начинается, — сказал старик.

Парень и девушка подхватили свои вещи и выбежали на улицу. Человек за столиком у входа не шевельнулся.

Молодой официант сделал несколько коротких затяжек.

— А все-таки давай поспорим! Ну?

— Не люблю я этого, — ответил старик, — но если тебя так заело...

— На десятку! — Молодой схватил старика за руку. — Только вот разбить некому.

— И не надо... Ты мне не доверяешь?

Молодой отдернул руку. Он не сводил глаз с одинокого посетителя.

Мужчина допил свое пиво. По сторонам больше не глядел. Небо совсем почернело, ветер поднимал клубы пыли. Старик направился к близким столикам.

— Только ты теперь не подходи к нему, — бросил ему вслед молодой. — А то и спорить не стоило! Лучше давай-ка зайдем в буфет.

— Что ж, зайдем, — ответил старик; голос его звучал глухо.

Когда минуты через три они вернулись, мужчины уже не было. Словно вспарывая брюхо огромной тучи, сверкнула синяя молния. Сразу же хлынул дождь. Старик бросился за скатертью и за кружкой.

Молодой ждал его под навесом; он ухмылялся.

— Нельзя было спорить, — проговорил старик, отряхиваясь от дождя.

Молодой громко расхохотался и протянул руку за выигрышем.

— Ни за что нельзя было спорить, — повторил старик, достал из кармана десятку и отдал ее молодому.

— Проиграл, потому и говоришь.

— Нет, не потому. — Старик грустно взглянул на него. — Из-за того человека нельзя было... Из-за человека...

Ночная смена *

Они сошли с трамвая на площади Бошняк и двинулись по улице вдоль рынка. Был холодный синий вечер, на крышах киосков белели покрытые ледяной коркой пласты снега. словно скатившиеся с неба звезды, желто светились уличные фонари. Женщина подняла меховой воротник. Она была в платке, концы которого обернула вокруг шеи и связала сзади, как делают, когда едут на мотоцикле.

— Четверть десятого, — сказала она, взглянув на электрические часы; минутная стрелка как раз перескочила на одно деление. — Давай-ка выпьем кофе.

Муж кивнул. Они перешли улицу. В эспрессо было тепло и дымно, ароматно пахло кофе. Прилипший к подошвам снег таял и растекался под столами грязными лужицами. Мужчина расстегнул кожаное пальто на меху, выбил чек в кассе. Над кассой висело зеркало. Женщина стояла позади мужа и видела в зеркале его лицо. Она всегда находила это лицо очень красивым: густые черные брови, узкий с горбинкой нос и слегка выдающиеся скулы, тонкие своевольные губы. Но прежде ей еще не была знакома эта глубокая складка, пролежавшая от переносицы к подбородку, когда находило на него раздражение, упрямство, из-за чего весь он становился таким чужим.

— Два двойных! — сказал муж у стойки. Буфетчица молча приняла чек. Звякнул рычаг кофеварки, зашипел пар. Он облокотился о край стойки, достал сигареты, сказал:

— Так утром не забудь!..

Щелкнул зажигалкой, она не загорелась. Подошел к какому-то мужчине и попросил огня. Женщина молча смотрела перед собой. В памяти встала картина: она еще девочка, подросток, и ей очень хочется пойти

* © Перевод на русский язык «Прогресс», 1978.

на танцы. Суббота, уже отобедали. Мать заваливает ее всякой домашней работой. Она торопится, чтобы успеть, но едва заканчивает одно дело, как тут же возникает другое. И все время с языка у нее готова сорваться просьба, чтобы мать наконец отпустила ее, но она так ничего и не сказала. И вот наступает вечер, поздний вечер, и она ощущает пугающую пустоту...

— Утром и отдашь,— подошел к ней муж. Он затянулся, надолго задержал дыхание и наконец выпустил из ноздрей едва заметную струйку дыма.— Взяла с собой? Покажи.

— Взяла,— сказала женщина.

— Покажи! — протянул он ладонь.

Женщина медленно расстегнула молнию своей сумочки, порылась в ней и достала листочек бумажки в осьмушку величиной.

— Вот.

— Я думаю, звучит довольно убедительно,— сказал муж, прочитав написанное.— Отпустят, да еще содействие окажут. Мы уже давно могли бы сделать это.

Жена бросила на него быстрый взгляд. Муж потянулся за двумя чашками кофе на стойке.

— Тебе один кусочек сахару? Или два? — Он развернул маленький кубик, бросил его в кофе.— Вот увидишь, станет гораздо лучше. И денег у нас будет ничуть не меньше! Я уже много раз подсчитывал. Семьсот мы платим маме за ребенка. Твои расходы на дорогу — пятьдесят в месяц. Питание, то, се — двести. Ну и конечно, эти постоянные холодные ужины — тоже кругленькая сумма... Таким образом, твоя получка равна твоим расходам, то есть не будешь работать, но будет и расходов — другими словами, мы и не почувствуем, что ты не зарабатываешь.

— Посмотрим...

Муж оторвался от кофе:

— Что, опять мудришь? Теперь, когда мне повысили зарплату, мы, ей-богу, можем позволить себе, чтобы ты оставалась дома. Подумай только, ты сможешь как следует вести хозяйство; никакой спешки, на все хватит времени: на стирку, глажку...

— ...И к твоему приходу все готово, влезай в шлепанцы, садись к печке и зарывайся в газету!..

Муж исподлобья взглянул на нее. Поля его шляпы затеняли глаза.

— Напрасно ехидничаешь, я прав!

Жена помешивала кофе, глядя, как лопаются коричневые пузырьки у стенок чашки.

— И будь уверена, я сыт по горло этими твоими ночными бдениями! — продолжал он после небольшой паузы. — Каждую третью неделю я остаюсь один, покорнейше благодарю! Не понимаю, ты-то почему никогда не протестовала против этого?!

Жена все помешивала кофе, в нем появлялись от этого все новые и новые пузырьки; темная жидкость вращалась в маленьком водовороте. Она долго смотрела в чашку, пока не зарябило в глазах.

— С чего мне было протестовать?

— Значит, если бы я не настаивал, ты и сейчас не стала бы увольняться?

— Нет.

Он поставил свою чашку на край стойки.

— Ну а теперь скажи еще, что это я заставляю тебя уволиться! Договаривай уж до конца!

Женщина отрицательно покачала головой, от этого сразу прошла рябь в глазах. Наконец она положила ложку и отпила глоток кофе.

— Ты не берешь в расчет, что речь идет не только о моей зарплате! Хорошо, мы не разоримся, если я уволюсь. Ну а ты не думаешь о том, что я люблю свою профессию?

Муж засмеялся, над левым глазом взбежали по лбу морщины. «Да это чужой человек!» — испуганно подумала женщина.

— Не знаю, что тут интересного — вставлять шпильки в машины и смотреть, как они вертятся, словно карусель, — сказал муж, — по мне, так просто-напросто скучища.

— Ты в этом не разбираешься, — тихо сказала женщина.

— Видишь ли, душа моя, если бы еще я сказал, что люблю свою профессию, это другое дело. Во-первых, я мужчина, во-вторых, то, что я делаю... Электротехник, да ведь это почти инженер. Призвание, можно сказать. Но, поступив на работу по необходимости... вязальщицей! Я еще понимаю, была бы ты учительницей, или врачом, или еще кем-то в таком роде... А так... не обижайся, но все это просто смешно!..

— Половина десятого,— сказала жена. Ее лицо вытянулось, глаза стали бесцветными. Она все поправляла шарф на шее.

— Половина десятого...— повторил муж.— Ну вот, ты опять обиделась.

— Я не обиделась...— Она подняла голову, улыбнулась мужу. Улыбка вышла кривой и неласковой.— Мы все это уже обговорили... Ты же видел, заявление об уходе при мне. Будет, как ты хочешь. Но тем не менее я могу ведь любить свою профессию.

Она вновь бесцветно улыбнулась. Муж ничего не ответил.

Улица обдала их холодом. Вечерний воздух был чист, в бесконечной дали искрились звезды. Мороз увеличивает расстояния. Мужчина взял жену под руку. Светились витрины закрытых магазинов. В морозном воздухе у обоих возле рта четко виднелись потные облачка пара.

— Видишь ли,— снова упрямо начал мужчина,— видишь ли, в конце концов женщина...

— Хватит об этом, ладно?..

— Станный ты человек. Ведь я тебе же добра желаю! — Он начал шутить.— Неблагодарная штука — желать людям добра... Неблагодарное занятие...

Женщина молчала. Фабрика была недалеко: нужно было лишь перейти площадь и свернуть в маленькую темную улочку. Сквозь матовые стекла фабрики лился белый неоновый свет, слышался монотонный гул вязальных машин.

— Если бы я сказала тебе,— остановилась она перед воротами,— если бы я сказала: уходи со своего завода, сиди дома на кухне, ты согласился бы?

— Глупости,— засмеялся муж,— тут совсем другое дело. Слушай, с тех пор как мир стоит, мужчина для того и женится, чтобы у него был нормальный дом, жена, которая о нем заботится, растит детей, одним словом...

«Одним словом, прислуга...» — хотела сказать женщина, но не произнесла этого слова. Кто-то прошел мимо них. Это была высокая блондинка, которая, отойдя на несколько шагов, обернулась, затем вошла в хлопающую на пружине дверь фабрики.

— Мне пора,— тихо сказала женщина.

— Ну, бывай,— наклонился к ней муж и поцеловал. Они поцеловались сжатыми губами.

— Значит, утром отдай,— крикнул он ей вслед.— Вот увидишь, так будет лучше!..

Женщина помахала рукой в двери и исчезла.

Она пронечтала табель и вошла в раздевалку. Здесь было тепло — приятная летняя температура воздуха, как и везде на фабрике.

— Ферович, это ты с мужем разговаривала у ворот? — спросила занимавшая соседний шкафчик высокая блондинка.

Она кивнула.

— Красивый мужчина. Высокий, черноволосый...

Было уже около десяти, они торопливо переодевались. Облачились в синие халаты, натянули высокие ботинки без задников. Сидя в ряд на длинной лавке, что стояла в раздевалке вдоль стены, они зашнуровывали ботинки.

— Куда же он пойдет в такое время? — спросила Такач, маленькая, как птичка; она очень гордилась тем, что муж ей изменяет, а все-таки не уходит. («Видать, я для него настоящая»,— говорила она.)

— Домой,— ответила Ферович,— домой, спать.

Они засмеялись.

— Красивый мужчина,— сказала блондинка.— Наверно, у вас все еще большая любовь, раз он тебя провожает.

Ферович заторопилась уйти. Выходя, слышала их смех. Похлопала себя по карманам: на месте ли щипцы для игл и маленький крючок. Пошла в цех.

Было ровно десять. С шелестом остановились большие кругловязальные машины. На ее шести машинах в дневную смену работала Вера, худая молодая девушка; она уже сновала у счетчиков с тетрадкой в руке и записывала показания.

— Как машины, Вера? — спросила Ферович и проворными пальцами ловко продела синюю нить под красную контрольную нитку Веры.

— Десятая иглы ломает,— ответила Вера подходя.— Таблицу видела?

Нет, таблицу она еще не видела. Взглянула на стену, где под электрическими часами были мелом выведены подряд все фамилии. На первом месте стояло: Ферович — 152%.

— О! — произнесла она и почувствовала, как в груди поднялась теплая волна. — Ну ничего, Верочка, ты еще нагонишь!.. Да... И даже позади оставишь!

— Я?! — Вера засмеялась. Сейчас, когда машины не работали, в наступившей тишине смех девушки звонким эхом прокатился по цеху. — Даже по количеству не смогу, не говоря уже о качестве! Вот и сейчас у меня браку на двадцать пять форинтов. Утолщения, сброс петель... Знаешь, такой потрясный роман читаю... Ничего не могу с собой поделать, страсть как люблю читать!

В десять часов пять минут вдоль станков проковылял старый папаша Куглер. Спросил:

— Готовы? Все готовы? Внимание, начали!

Главный приводной шкив наползает на вал двигателя, машины одна за другой включаются в работу. Каждая набирает скорость понемногу, чтобы от резкого толчка не поломались иглы. Шелест все усиливается, и вот уже цех заполняется ритмичным монотонным гулом.

Ферович поправила нити на своих машинах и встала у той, что заправлена шелковой нитью. Прислонилась к стене. Светили неоновые трубки, закрепленные под длинными стеклянными панелями. В воздухе чувствовался сырой запах пряжи, носились невесомые пушинки, оседающие на станках, синих халатах, волосах. К этому надо привыкнуть. А привыкнешь, так даже приятно. Кроме парящих пушинок, никакого мусора, цех выглядит как аптека. Шесть машин, шесть различных «характеров». Каждую нужно знать. И она знает. Та маленькая машина для шерсти часто рвет нить. С ней надо держать ухо востро. Ферович начала работать как раз на ней. Муж тогда зарабатывал мало, нужно было и ей найти какую-нибудь работу. В их доме жил бухгалтер, господин Юршич, с трикотажной фабрики. Он и сказал ей, что как раз набирают женщин на *кругловязальные машины*. Господин Юршич привел ее на фабрику. Поначалу она боялась машин. Да и не ладилось у нее, а остальные работали сдельно и помогали неохотно: им не нравилось, что она все мудрит с установкой игл и насадкой оборвавшегося полотна. Все три смены работали, в сущности, без перерыва. За три месяца она все же втянулась. Тогда ее поставили к машине. Практиковалась на вот

этой малютке. Машина капризная, сколько раз она плакала в бессильной злости из-за вечных неполадок, сколько приходилось с капризницей возиться! Но зато уж досконально изучила все фокусы подобных машин. Зарабатывала мало, но к рождеству получила наконец шесть машин, как и все остальные. В январской зарплатной ведомости против ее имени значилось 1300 фори́нтов.

— Ферович, восьмая стоит, — подошел к ней папаша Куглер. Старик был мастер цеха, работал всегда в дневную смену. — А девятую я исправил. У нее погнулась плати́па, я ее сменил. Пол-одиннадцатого... Ну, я пошел. Спокойной ночи, Ферович!

«Вот и его больше не увижу», — подумала она. Папаше Куглеру было уже под семьдесят, но он не уходил на пенсию. Это был настоящий мастер своего дела. Он пришел на фабрику лет пятьдесят назад, когда привезли первые машины из Германии. «Я многому научилась у старика, — думала она, — но теперь все это мне ни к чему...» Она встряхнулась, подошла к восьмой и запустила ее. Девятая крутилась хорошо, диски с шелестом вращались вокруг игл. «Когда платина кривая, ломаются иглы... Н-да... Зачем мне знать это? Теперь мне про эти машины ничего знать не нужно...»

Но как это все же странно... даже не доходит понастоящему до сознания!

Все шесть машин аккуратно, ровно жужжат. Радостно видеть, когда они работают — четко, без поломок; белое полотнище мягкими волнами оседает в прикрепленный к машине короб. «Утром отдам Мезеи заявление об уходе и вскоре не буду иметь ко всему этому никакого отношения. Стану домохозяйкой, которая варит, печет, стирает и гладит. Женщиной, которая не ложится под бок мужу усталой. По субботам будем ходить к Рожике, у них обычно и собирается вся компания. Там ни к чему знать, что кривая платина ломает иглы, там нужно другое: «Персики можно сохранить и без сахара, душечка, нужно только полтора часа мешать их без передышки, в сыром виде, тогда они и зимой такие, будто только что сорваны. Мэ́й муж очень их любит!» Или: «Представь, я видела в парижском журнале такое платье!.. Нет, до тех пор не успокоюсь, пока муж не купит мне точно та-

кое!..» «Кривая платина ломает иглы!» Ха-ха-ха!.. Да они бы подумали, что я выпила слишком много триплекса...»

— Ферович, Ферович! — кричала ей маленькая Такач, но в шуме машин трудно было понять, чего она хочет. — Послушай, Ферович, — испуганно сказала ей в ухо маленькая женщина, — понять не могу, что стряслось с этой проклятой двадцать пятой! О господи, я боюсь даже к ней прикоснуться!..

— Покажи! — сказала женщина. Она пошла за Такач. Мимоходом взглянула на электрические часы. Было уже за полночь. Время летело незаметно.

Двадцать пятая была огромной машиной на восемь вязальных систем, на ней шел шелковый трикотаж. Полотно наполовину было сорвано, и по крайней мере из-под десяти замков торчали обломки игл.

— Ну, ты и патворила! — сказала Ферович.

— Черт знает что на нее нашло: сначала сломалась одна игла, я ее сменила. Потом вдруг смотрю: пошла полоска — еще двух игл нет. Черт тебя побери, говорю. Сменила иглы. Запускаю, проходит один круг — трах! Я думала, в обморок упаду!

— Если бы это еще при папаше Куглере случилось.

— Господи! Что же мне делать?!

— Один-ноль! — подошла к ним толстая, молочно-белая Анна. Она была третьей в их смене. — Брось ты это, утром сделают!

— Ах ты, господи, это ведь моя самая прибыльная машина! Мезеи так мне всыплет, что я отца и мать не узнаю!

— Не теряй времени! Смени иглы, может, ничего другого и не надо.

Она бы с радостью все исправила, но в голове вертелась одна мысль: «В сумке лежит заявление, какое мне дело до этой машины!» Лишь взглянув на двадцать пятую, почувствовала, как было бы чудесно ее наладить — повозиться хорошенько и наконец увидеть, что машина заработала. Ферович подавила в себе это чувство. «Надо позабыть все, что я знаю и умею, чтобы больше не думать об этих машинах. Не думать о том, что умела делать кое-что лучше других».

— Если не получится, утром мастер починит.

— Я ничего не заработаю за ночь! — плакала Такач. — Двадцатая еле тянет, двадцать вторая в текущем

ремонте. Да и Мезеи пойдет бушевать!.. Посмотри ты, Иренке! Ведь тебе это ничего не стоит!

— А сама-то чего не починишь?

— Ой, боюсь, еще хуже сломаю. Ты же меня знаешь: хоть и две руки, да обе левые.

Одна из машин Ферович остановилась, и она поспешила в свой отсек. Такач поплелась за ней следом.

— Ну что с тобой? Может, за вчерашнюю шутку обиделась?

— Что?..— Ах, вон что, Ирен и думать об том забыла. Нет, она не обиделась.— Просто в сон клонит, я с вечера кофе не выпила,— соврала она.

— А я бы пока и на твоих, и на своих машинах поработала, только почини! Если она простоит до утра и придет Мезеи!.. Ой, даже думать об этом боюсь!

Ирен Ферович вздохнула.

— Ну подожди,— сказала она,— сперва запущу эти два драндулета.

— У тебя плохое настроение,— сказала Такач.— Дома что-нибудь случилось?

— Да нет, ничего!

— Я ведь обычно слышу, как ты распеваешь.

— Слышишь? В этом шуме? — слегка улыбнулась Ферович.

— Бывает, шум стихнет, я и слышу. У меня тоже привычка петь. Машины гудят, ритм держать помогают. Голоса своего не слышишь, только в горле чувствуешь песню... Ну так я посмотрю за машинами... До чего же ты елавная, честное слово!

Иренке уже не слухала Такач. Подошла к двадцать пятой, внимательно ее осмотрела. В замке одной вязальной системы пушинки свалились в толстый комок, его могла затянуть какая-нибудь из нитей, самоостанов заблокировало, и комок переломал около трехсот игл.

Сменить иглы, установить их точно по линейке — кропотливая работа, но иначе нельзя, не то они будут ломаться все три смены подряд. Ирен Ферович любила сложную работу.

— Что, уговорила? — спросила толстая Анна.

— Ладно уж, сделаю.

— Раз мастера нет, то и не стоило бы. Машина неисправна, значит, работать нельзя, а за простой так и так заплатят.

— Если можно исправить, чего ж ей простаивать зря.

— А я, если можно не работать, и не работаю. Ненавижу менять иглы. Терпения не хватает, так и кажется, будто у тебя по спине муравьи бегают.

— Да.

— Лучше уж посидеть и помечтать.

— И ты мечтаешь?

— Всякое приходит на ум ночью.

Ферович вывернула один из замков и начала выбрасывать сломанные иглы.

— О чем же ты мечтаешь?

— Бог его знает! Сидишь себе, и проходят перед тобой разные картины. Был у меня когда-то жених, так он всегда говорил: ты, Анна, прямо философ.

— Шутил, верно.

— Да нет, он серьезно. Потому и не взял в жены. Тебе бы, говорит, не работать, а только сидеть в кухне на табуретке.

— Другие не сватались?

— Разборчивая была. По молодости-то все мы разборчивы. А после уже и не нужна никому.

— Ну и лучше оставаться одной.

— Лучше? Кто его знает.

— Не нужно приноравливаться к другому человеку. Ты независима. Делаешь что хочешь.

— Да кто его знает. Я-то вот всегда говорю, что вам, замужним, лучше. Может, мужчинам холостым так и легче... Пожалуй, что так. Но женщине!.. Чуть что — сразу осудят. Понимаешь?

Ферович воскликнула:

— Это глупо! Глупо!

Анна пожала плечами. У нее было мягкое полное лицо монашенки. Кожа молочно-белая, на пухлых щеках изломанные лиловые прожилки.

— А потом ведь все одна и одна. Одна в четырех стенах. Нехорошо.

— Зато свободна.

— Оно конечно. Свободна... А потом наступает воскресенье, родственникам все некогда... Я уже посмотрелась фильмов в кино... Ложишься в восемь вечера, но не спишь. Думаешь о прошлом, мысленно исправляешь в нем кое-что. Подштыпываешь его...

Потом откроешь глаза и только слышишь, как часы тикают...

— Смотри-ка, там нить кончается,— сказала Ферович,— вон там, за спиной у тебя.

Одну за другой она вставляла иглы. Левой рукой прижимала их снизу, а правой, держа щипцы, подравнивала. «Не будь меня здесь, машина стояла бы до утра»,— подумала она. Попыталась представить себе, что будет, если такое случится через несколько недель. Как злился бы утром сменный мастер: «Конечно, Ферович нет, и в целой смене никто не сумеет исправить поломку!» В такие минуты ей хотелось, чтобы здесь оказался ее муж и все видел. Видел, что она умеет делать нечто такое, чего он не умеет. Конечно, работу мужа она тоже не смогла бы выполнять... Но по крайней мере они были бы на равных!

С иглами пришлось повозиться. Было далеко за полночь, но сегодня от вязальных замков не рябило в глазах, как обычно. Усталость берет свое между часом и тремя, тут уж приходится бороться со сном. Она работала четко и через час, закончив установку игл, начала надевать полотно на иглы. И, как всегда, когда работа требовала особой тщательности, прикусила губу. Трикотаж — материал тянущийся, нужно внимательно следить за тем, чтобы он попадал на иглы равномерно, не собирался в складки. Возилась она долго, но наконец завершила и эту работу. Повертела машину вручную, осторожно, чтобы нити хорошо провязались. Конечно, опять сломалось несколько игл, так уж всегда бывает из-за толщины надетого полотна. Она сменила их и снова принялась вертеть. И опять, и опять налаживала, долго и терпеливо.

Было уже около пяти. Ночь прошла незаметно. Когда работаешь, и работаешь сосредоточенно, время летит быстро. Наконец двадцать пятая заработала ровно, с ритмичным шелестом; уродливая, в местах обрыва похожая на рубец от раны часть полотна опускалась все ниже.

Когда она вернулась к своим машинам, Такач дремала, сидя на краешке ящика из-под пряжи.

— Ты что!.. А машины? Так-то ты за ними смотришь?

— Ах ты, господи!.. Да я тут всего на минутку присела,

— Готов твой драндулет. Иди, скоро уже шесть!
— Ты чудо! — сказала Такач, подойдя к двадцать пятой. — Ты просто чудо!

Иреп Ферович устало улыбнулась и пошла к своим машинам. За работой она обо всем забыла. Теперь снова вспомнила о заявлении. В шесть часов придет Мезеи. И заявление придется отдать...

В пять утра вечер кажется уже очень далеким. Вечер плотен, наполнен людьми и звуками. Тяжелыми густыми красками. Но к рассвету все сглаживается. Трудные дела оседают, отодвигаются куда-то вглубь. Рассвет свеж и влажен. И на рассвете мы не хотим верить в реальность того, что происходило вечером. Не хотим верить, даже если знаем наверное.

Она подошла к окну и открыла форточку в железной раме. На улице было темно, но звезды уже погасли. Стекло снаружи было подернуто инеем.

У открытого окна она сразу взбодрилась. Отсюда была видна двадцать пятая. Крутится. Равномерно, без заминок. Это она наладила машину. Как хорошо! Ничего нет приятнее, как что-то сделать самой, и сделать на славу. От этого разглаживаются морщины на лице, согреваешься изнутри. В такие минуты чувствуешь, что имеешь право жить на свете...

К половине шестого начали снимать полотно. Прикрепленные к машинам панели уже едва выдерживали тяжесть ниспадающей на них материи. Женщины помогали друг другу сворачивать ее и оттаскивать рулоны. Складывали все один на один, поближе к выходу. Это тоже здорово — когда все вместе, сообща. Подобного чувства дома не ощутишь!

Без четверти шесть ее внезапно охватило волнение. Каждую минуту может прийти Мезеи. Тогда надо будет вручить ему заявление... «Так утром не забудь», — стояли в ушах слова мужа. Ей пришлось на мгновение прекратить работу — закружилась голова. «Если не наткнулся прямо на самого Мезеи, не отдам, — подумала она. — Зачем тогда отдавать».

Около шести машины одна за другой начали оставливаться. Она продела в иголку синюю нитку и торопясь пришивала маркировку к краям готовых рулонов. Головы не поднимала, чтобы не заметить Мезеи.

— Как дела? — Это припла с набитой сеткой Пинтер, ее сменщица. Она всегда приходила с набитой сумкой.

— Все нормально...

Ферович сняла показания со счетчиков и побежала в раздевалку. Там было шумно. Все еще входили опоздавшие, на их волосах белел иней, они приносили холод в своих зимних пальто.

Иренке проворно переоделась. Даже не стала причесываться, кое-как запихала волосы под платок.

— Как ты спешишь!.. — сказала высокая блондинка. — Или муж так и ждет тебя здесь с вечера?

Она неловко отшутилась, уже на бегу. Мимо конторы сменного мастера проскочила с бьющимся сердцем. Еще не добежала до конца коридора, когда со скрипом отворилась дверь конторы и послышался резкий голос Мезеи. Но оборачиваться не стала. «Да может, то и не он, — сказала она себе. — Я его не видела!»

За воротами ее охватил утренний холод. По улице, подвывая, бежали ранние трамваи. Дойдя до остановки, она решила не садиться в трамвай. Пошла пешком. Она любила пройти пешком, хотя бы только часть пути. На рассвете снег красиво блестит. Он бело-голубой, как в сказках. Выйдя на улицу, как-то сразу ощущаешь усталость. Тело словно немеет. Стучат каблуки, далеко разносится капель.

В окнах зажигаются огни, город просыпается. Из подъездов выходят люди. И когда встречаешься с ними взглядом, в душе вспыхивает какая-то детская гордость: «Я ночью работал!» Детская гордость, но она нужна... Иренке она тоже необходима. Это вообще очень необходимое чувство — детская гордость. Оно чистое. Свежее, как рассвет.

За городской чертой

Мальчик приходил на каждое представление. Он стоял у края арены, чуть подальше от свисающего у входа бордового занавеса. Мальчик был худенький, большеглазый. Он хорошо рисовал. Нарисовал боснийского медведя, львят, крокодила. И еще... музыканта-клоуна.

На первых порах директор разглядывал рисунки; в углу рта у него была зажата дешевая сигара. Она никогда не горела нормально, после нескольких затяжек приходилось зажигать ее вновь. Но директор был ленив: даже если пепел падал на манишку, он его не стряхивал. Был он уже грузноват. Директор рассматривал рисунки и хмыкал.

— Так ты, значит, друг Шпрейцера?

— Да,— ответил мальчик. Он ждал, не скажет ли директор что-нибудь о рисунках. Было утро, они стояли между белеными цирковыми фургонами. Чуть поодаль пощипывали траву лошади.

— Молодец,— сказал директор. Он вынул изо рта сигару, посмотрел на нее, увидел, что она потухла, и опять сунул ее в рот.—Ну ладно. Только смотри, не крутись под ногами.

— Я всегда буду стоять в сторонке, у края арены,— ответил мальчик.— А если нужно, и афиши нарисую...

— И меня мог бы нарисовать? — спросил директор.

Стоял июль, было так жарко, что хоть рубашку снимай, но директор обрядился в черную шляпу.

— Запросто,— ответил мальчик.

— Ну, ну... Лучше ты Шпрейцера рисуй. На него ходит публика.

Директор отвернулся, окликнул кого-то. Ушел.

Первое время мальчик смотрел всю программу от начала до конца. Но потом ему надоело, и он подходил

к арене, только когда выступал Шпрейцер. Жара пролезла и под брезентовый полог цирка. Публика мечтала о пиве. «Пива! — кричали зрители. — Почему не продают пиво?!» Но во время номеров они сидели тихо и потом хлопали от души.

В углу играл маленький оркестр. Место для него оградили барьером, барьер закрыли цветной креповой бумагой. На гармошке играл старик. Барабанщик был молодой и тощий, с аляповатым галстуком на шее. Когда начинался номер Шпрейцера, гармонисту можно было передохнуть. Лишь пока Шпрейцер взбирался по веревочной лестнице, он негромко наигрывал какую-то быструю мелодию. Из-под купола свисали два металлических шеста, к которым была прикреплена обтянутая парчой площадка. На нее становился Шпрейцер. Когда он, приветственно подняв руку, изящно раскланивался в вышине и публика отвечала ему аплодисментами, мальчик отрывался от столба: от волнения он был весь как натянутая струна. Шпрейцер был уже немолод, но в золотистом трико, обхваченном в талии широким мягким поясом, загорелый и мускулистый, он был великолепен. Его короткие светлые, чуть сероватые, волосы ярко блестели под лампами. Мальчик сцепил пальцы, запрокинул голову и стал глядеть вверх.

Шпрейцер отвязал трапецию, оттолкнул от себя, чтоб она раскачалась в воздухе. Натер ладони порошком из привязанного к тросу мешочка. Гармоника смолкла, стало тихо. Шпрейцер поймал летящую к нему трапецию и, повиснув на ней, стал раскачиваться над ареной. Он никогда не разрешал натягивать под собой сетку, шел на чудовищный риск. Когда трапеция как следует раскачалась, Шпрейцер в воздухе начал выполнять различные трюки. Раскачиваясь, подтянулся, руками при этом крепко сжимая железный шест, потом перекувырнулся, зацепился за шест коленями и повис на нем. Раздалась барабанная дробь, она звучала то медленно, то часто и громко. Шпрейцер осторожно укрепился в этой позе, с двух сторон обхватив ступнями канат, и при следующем размахе выпустил из рук железный шест. За барабанной дробью зрительного зала не было слышно; Шпрейцер,

головой вниз, вытянув руки, все стремительнее раскачивался в воздухе. Мальчик знал: сейчас акробат вытащит из кармана черный платок и завяжет глаза. В эти минуты мальчик очень боялся, поднимал ко рту сцепленные руки и кусал кулаки. Барабанщик застыл, вскинув палочки, но во время дерзновенных трюков артиста они вновь ударят по барабану, когда падо, чтобы тем вернее кровь стыла в жилах зрителей. Их приглушенные вскрики долетали под купол — пожалуй, это были самые прекрасные минуты Шпрейцера. Он повторил свои прежние трюки с завязанными глазами. Против веревочной лестницы качался толстый канат, и о том, к чему готовился сейчас Шпрейцер, публика могла догадываться по цирковой афише. Он снова раскачивался на руках, стала быстрее барабанная дробь; и вот, сильно раскачавшись над бездной арены, он, точно рассчитав момент, выпустил шест и, с черным платком на глазах, описав короткую дугу, полетел к канату и схватил его. Канат закачался; Шпрейцер винтом закрутился на нем; мальчик видел, как плотно сжались его губы. Подождав, пока канат остановится, акробат молниеносно соскользнул на песок арены. Сорвал с глаз платок и, под ураган аплодисментов и радостных криков зрителей, с улыбкой раскланялся, затем быстрым летящим шагом покинул арену, исчез за занавесом. Аплодисменты обычно не прекращались, и тогда ему еще раз приходилось выбегать на арену.

Мальчик уже ждал его во дворе с полосатым оранжевым халатом в руках. Оба молчали. Шпрейцер, переводя дух, позволил мальчику накинуть на себя халат.

Позже, когда Шпрейцер переоделся в клетчатую рубашку и брюки из чертовой кожи, они уселись на деревянной лесенке, приставленной к фургону, в котором жили артисты цирка. На площади шумно расходилась публика, слышались звонки велосипедов и треск мотоциклов. Поворчав, замолк и движок. Понемногу все вокруг стихло.

— И сегодня все обошлось! — сказал Шпрейцер.

Мальчик смотрел, как он курит, как светится у него в руке кончик сигареты. На теряющихся в темноте

улицах городка горели огоньки, зато здесь, над заросшей травой плсщадкой, ярче светили звезды. Длинные перистые облака тянулись по всему небу. Повеял теплый ветер; Шпрейцер выпустил струйку дыма, и ветер отнес его в лицо мальчику. Ему нравится сигаретный дым, он вдохнул его.

— Я и сегодня очень волновался,— сказал мальчик.

Шпрейцер улыбнулся. Когда он затаился, красный огонек сигареты осветил его губы и нос.

— Слышишь, сверчки поют? — спросил он у мальчика.

— Здорово ты грохнешься, если однажды не получится...

Шпрейцер улыбался.

— Какие они славные, сверчки. И ведь никогда их не увидишь. Я только голос их знаю... Плачут они или поют?..

— Ты же можешь разбиться. Разрешил бы хоть сетку натянуть.

— Ну... могу разбиться.

Мальчик повернулся к нему.

— И ты никогда не боишься?

— Ну да! Только я не думаю об этом. Нельзя о таком думать. Страх убивает.

— И лихачество тоже!

— Храбрость — не лихачество!

— То же самое...

— Этого ты еще не знаешь,— сказал Шпрейцер и похлопал мальчика по спине.— Храбрость, она всегда обдуманная, а лихачество или бесшабашность — нет.

Около клеток со зверьми лаяли бездомные собаки. Кто-то ругнулся, звякнуло ведро. Бросили камень, взвизгнула собака.

— Мало тебе платят в цирке,— задумчиво сказал мальчик.— А ведь трюки твои не пустяк. Тем более что они опасные...

— Я уже не раз говорил тебе, что делаю это не ради денег.

Они замолчали. Им нравилось подолгу сидеть вечерами. Один за другим гасли огни в окнах фургонов. Где-то запела женщина, умолкла, запела опять.

— Ты как, рисовал сегодня? — спросил артист.

— Дом. С садом, с цветами...

— Зря,— сказал Шпрейцер.— Ты солнце рисуй... луну...

— Хотел бы я когда-нибудь пожить в таком доме,— сказал мальчик.

— Я посмотрю потом дом твой. Но, по мне, лучше бы ты рисовал солнце да луну...

— Мы вот с тобой друзья,— немного погодя сказал мальчик.— Я и восхищаюсь тобой... но часто не понимаю. Директора и других понимаю... Но не люблю. Отчего так бывает?

— Когда-нибудь поймешь,— ответил Шпрейцер.

— Я очень боюсь, что однажды ты упадешь и разобьешься. Ты мой единственный друг. Я всегда смотрю твой номер, хочу знать, удачно ли выйдет... Руки кусаю, так боюсь... Но все равно я не хотел бы, чтобы ты бросил...

— Теперь я уж никогда не брошу...

— Ни за что на свете не взялся бы я за такие трюки. Но все-таки хорошо знать и видеть, что у тебя-то хватает духу делать это и ты не хочешь все бросить. Когда ты летишь, я горжусь, хотя мне и страшно.

— Мною гордишься? Оттого что я друг твой?

— Тобой тоже... но не только. Вообще вдруг такое чувство гордости охватывает...

Шпрейцер долго молчал. Часто и глубоко затягивался сигаретой.

— Как по-твоему,— спросил он наконец чуть дрогнувшим голосом,— может, и зрители — так же?..

— Да. Я уже и сам видел: у них глаза блестят.

Шпрейцер потушил сигарету. Откинулся, сунул руки в карманы. Стал негромко сквозь зубы пасивистывать.

Время наплывало и уплывало вместе с облаками.

— Завтра я покажу тебе тот дом, что я нарисовал сегодня,— тихо сказал мальчик.— И мне, и тебе хорошо бы пожить в таком доме. Ладно, ты сказал уже, что не ради денег работаешь. Но нельзя же так, чтобы ты, самый ловкий, самый смелый... По крайней мере тебе бы надо в какой-нибудь большой цирк! В знаменитый какой-нибудь цирк большого города... Ты заслуживаешь того, чтобы стать богатым. Купил бы себе красивый дом... Я видел много красивых домов, от которых сам бы не отказался!.. Знаешь, маленькие такие виллы с башенками, желтые или бледно-зеленые,

белые жалюзи, в садах кусты, они и зимой зеленыс... И ты заслуживаешь...

— Замолчи! — раздраженно воскликнул артист. Но, увидев, что мальчик обиделся, добавил: — И мне когда-то того же хотелось...

Он наклонился, сорвал травинку и медленно стал накручивать ее на палец. Мальчик молчал. Шпрейцер понимал, что должен как-то объяснить ему.

— Я начинал в одном провинциальном варьете. Выступал там с маленькими номерами. Говорили, что и по ним видно было: есть у меня талант. Я любил эту профессию, был предан ей душой и телом. Что называется, душой и телом... Вначале я не очень-то обращал внимание на то, что обо мне говорят. Знал, что понимаю в этом толк, что только это и умею... Потом меня заметили. Взяли в город. Приняли по контракту в цирк, в большой цирк с мировой славой. Я выполнял головокружные трюки, никто, кроме меня, не мог такое. Платили хорошо. Заговорили обо мне. В трамвае за моей спиной шепотом называли друг другу мое имя. У меня закружилась голова. Сказал однажды директору: «Я — гвоздь программы, повысьте мне ставку, иначе заключу контракт с другим цирком». Он тотчас же исполнил мое желание. Тогда я понял, что на этом деле и впрямь можно зарабатывать деньги... Много денег...

Шпрейцер замолчал. Его бросило в жар, он растегнул рубашку. Сорвав еще травинку, опять стал накручивать ее на палец.

— Купил дом, машину... А женщины!.. Когда-нибудь и ты узнаешь, каковы они, женщины. Особенно когда у тебя есть деньги. Но тут я начал бояться... Пока был бедным как церковная мышь, ничего не боялся. Парил под куполом словно птица... — Шпрейцер задумался. — Да, точно, словно птица... Лучшего сравнения не найдешь. Но... умерла во мне птица. Вместо птицы в воздухе летал гвоздь программы. Каждый мог высчитать, сколько он стоит чистоганом...

Белые жалюзи... Вот-вот, белые жалюзи да ванная комната с бледно-зеленым кафелем, вделанная в пол ванна — прямо бассейн. В комнате толстые мягкие ковры... Камин буком топится... или дубом... чего не пожелаешь! Перед камином кожаные кресла, столик на колесиках, на нем напитки пяти-шести сортов. Как

тут не бояться потерять все это! А ведь оттуда, сверху, шлепнуться недолго, дружок! Руку сломаешь или ногу, да и шея либо там позвоночник... они тоже не железные! Человеку в воздухе... ему легко погибнуть, понимаешь?! Там, наверху, мужество нужно, братец мой, но, если дома ждет ужин, да наедине с прелестной женщиной, или путешествие на машине по горным серпантинам, кому охота играть со смертью?.. Безрассудство, отчаянность... конечно, и тут тебя может вдруг отчаянность подхватить, но для нашей работы не отчаянность нужна, а мужество.

Шпрейцер замолчал. Он не смотрел на мальчика. Страхнул с пальца травинку, встал. Он продрог, застегнул рубашку. Мальчик сидел все так же.

— И ты все это бросил? — спросил он немного погодя.

— В один прекрасный день бросил... Да я уж и не работал тогда. Мое имя знали и без того. Я начал жить. Спал до обеда, ел и пил в свое удовольствие. Потом на меня напали всякие страхи. Я боялся насморка, воров... боялся водить машину: а вдруг врежусь во что-нибудь или на меня наедут... и конец... боялся темноты, боялся, что постарею, что меня бросят женщины, и черт его знает чего я только не боялся! Слишком я был богат, чтобы жить спокойно и смело. Но, к счастью, однажды я взял да и бросил все...

— Ты помнишь этот день?

— Такие дни не забывают, — сказал Шпрейцер. Он подошел к фургону, прислонился к нему, встав спиной к мальчику.

— Наверное, ты был сильным.

— Не знаю... От себя самого никуда ведь не уйдешь. Ну, потянет тебя, завлечет. На какое-то время, а может, надолго. А тот прежний, все живет в тебе, подавленный, униженный... Но бывают такие ночи, когда он тихо начнет с тобой беседовать, только надо прислушаться.

Долго ни один из них не мог заговорить. К горлу мальчика подступил ком, но он боялся откашляться.

— Пошли спать, — сказал Шпрейцер. Оттолкнулся от стенки фургона, провел рукой по лицу.

Мальчик спал в одном фургоне с акробатом. Он долго ворочался под одеялом.

Его глаза постепенно привыкли к темноте. Через ситцевую занавеску оконца проникал ночной свет.

— Ты спишь? — спросил вдруг мальчик, приподнявшись на локте.

— Что тебе?

— Я хотел бы утром показать тебе тот рисунок.

— Хорошо, — сказал Шпрейцер. — Ладно, ладно, покажешь.

Его уже одолевал сон. Он любил мальчика, у которого не было никого, кроме него — единственного его друга. Он и в полусне думал о нем: «Неужели все должны пройти через это?! Или по крайней мере большинство?..»

1960

Сквозь дымку

Чилле посвящается

Когда он впитывал в себя эти впечатления, смысл их был ему еще непонятен, тогда он не видел в них ничего такого, что выделяло бы их среди других событий тех дней и лет; они казались столь же естественными, как дождь и солнечный свет, как привычное течение жизни: стакан молока на завтрак, торчание в кузнице, обед за белым крашеным столом, походы за шишками в парк с краюхой хлеба вместо полдника, мытье ног в ведре по вечерам и звездные летние ночи. С годами многие воспоминания бесследно исчезли из памяти, другие остались, и иногда в душе, замирая, вдруг оживали какие-то звуки, краски, запахи, ощущения; у него не всегда доставало смелости предаться этим воспоминаниям и сил, чтобы заново пережить их, но как бы он ни противился, воспоминания все же были сильнее, и рано или поздно приходилось им уступать.

Ему опять вспомнилось то далекое лето, когда однажды воскресным утром дядя Якаб запряг лошадей, тетя Дорка уложила в старую коробку из-под обуви с фирменной надписью «Делка» песочные пирожные и зажаренного в сухарях цыпленка, и они отправились в Балф, на воды. В купальне они пробыли до обеда и вернулись потом на постоянный двор, где были оставлены лошади и телега. В трактире дядя Якаб заказал пёркельт, который, чтобы гости не ели его пасухую, был обильно приправлен чесноком; гости, конечно же, пили — вино из пузатых бутылей так и лилось в стаканы; дяде Якабу захотелось петь, но тетя Дорка одернула его, мол, здесь нельзя, тогда дядя подозревал трактирщика и спросил, где тут написано, что нельзя петь. Трактирщик, обрюзглый старик с дрожащими

руками и красными прожилками на лице, услужливо хихикал.— Отчего же,— сказал он,— сделайте милость.— Дядя Якаб глянул на тетю Дорку из-под густых седеющих бровей и опрокинул еще стаканчик; пить ему расхотелось.— Ну, Фери,— кивнул он мальчику,— допивай свой сок да поехали.— Они вышли во двор и запрягли лошадей. Фери нисколько не огорчился, катить на телеге было гораздо интересней, чем рассниживаться в корчме; он помог дяде Якабу расправить на козлах попону и сел с ним на передок, тетюшка уселась сзади в прикрепленное к бортам телеги сиденье, подложив под себя мешок с соломой и как следует закутавшись в одеяло: после горячего источника и корчмы воздух казался ей прохладным. Лошади мотали хвостами, иногда больно стегая по голым погам Фери, но мальчик не обращал внимания: так хорошо было слушать топот копыт, хруст гравия под колесами. Они промчались по главной улице Балфа и выехали на пустынное шоссе; солнце еще не село, но уже клонилось к горизонту; слышно было, как копошились в листве птицы, с заросшего осокой луга доносилось кваканье лягушек. Конечно, было бы здорово самому править лошадьми, но Фери и в голову не приходило попросить вожжи, он только воображал себя возницей. Вдоль дороги тянулись высокие стройные тополя, потом их сменили раскидистые шелковицы. На одной из веток, почти у самой дороги, сидела горлица, дядя Якаб замахнулся на нее кнутом, но промазал, птица испуганно вспорхнула; дядя Якаб рассмеялся — забыв о корчме, он снова был в добром расположении духа; он подхлестнул лошадей и, улыбаясь, тихонько, почти про себя, стал напевать какую-то задумчиво-грустную мелодию. Тетя Дорка не смела сказать ему, чтобы не гнал так коняг, и только беспокойно ерзала на заднем сиденье.— Возьми-ка,— протянула она мальчику одеяло,— простудишься.— Но, как и дяде Якабу, одеяло Фери было не нужно (он ведь тоже мужчина!). Он пытался подпевать дяде и очень жалел, что не пришлось им ехать вдвоем, без тети Дорки; тогда он, пожалуй, и вина выпил бы, и настроение у них было бы хоть куда, и, кто знает, может, на обратном пути остановились бы даже где-нибудь повеселиться. Ведь они уже гуляли вместе, и не только в храмовой праздник; однажды просто за-

шли в корчму «Тренчен» субботним вечером; после вечерней дойки они выскочили тогда за табаком и по дороге из кооперативной лавки дядя Якаб встретил перед корчмой дружков своих; они поздоровались, разговор зашел о мельнике, который спекулирует мукой, тут уж нельзя было не остановиться. Дядя Якаб выпил с ними по большому фрэчу, потом по второму, по третьему; говорили уже не о мельнике, а о войне, о том, что устроили с поляками, потом с этой войны речь перешла на прежнюю, приятели уселись за зеленым крашеным столом, и тут дядя Якаб вдруг сказал Фери: — Какой тебе малиновый сок! Еще чего не хватало, да я в твои годы уже трубку курил! — И заказал Фери маленький фрэч. И он, одиннадцатилетний мальчишка, сидел среди мужчин как равный, потягивал вино; потом дядя Якаб пел — у него был красивый тенор, все сразу смолкли, как только он, откинувшись на спинку стула, затянул: *«Пока есть телята да волы на свете, не страшны, ребята, нам девичьи сети...»* Перед закрытием Фери уже пел вместе со всеми, а когда они выходили, то он в неожиданном порыве удачества выхватил из кармана свой складенёк с красной рукояткой и бросился вперед, шатаясь и сквернословя; взрослые спотыкались следом и хохотали над ним, хватаясь за придорожные деревья, пока Фери не шлепнулся на землю. Когда дядя Якаб поднял его, его вытошнило, но он не оробел, а пробовал смеяться над этим вместе со всеми, потом он уснул, а наутро тетя Дорка страшно на обоих сердилась, особенно на мужа. — Как расскажет он об этом отцу, — ворчала она, — ни за что они не отпустят больше к нам ребенка на лето. Эх ты, старый дурень!.. — Но Фери очень гордился этой выпивкой и рассказывал о ней всем подряд, помалкивая, конечно, о том, как его тошнило. В общем, они с дядей Якабом отлично понимали друг друга. Очень любил он эти летние месяцы. Когда в июне наступали каникулы, больше всего ему хотелось поехать к своим дяде и тете. Дядя Якаб встречал его на станции, они укладывали вещи на телегу, и еще по дороге мальчик жаждал узнать все новости: как корова, принесла ли теленочка, будут ли опять косить люцерну в Сухом логу, водятся ли еще крысы в каменном отвале за погребом и мышкует ли собака Кроха так же ловко, как в прошлом году...

Дядя Якаб обстоятельно обо всем рассказывал, они то и дело дружно смеялись, Фери с удовольствием вдыхал идущий от дядюшки запах табака и конюшни, ему нравился запах лошадей, и деревенской пыли, и лугов. Проезжая по деревне, он видел вокруг знакомые лица, со всеми здоровался, а люди, завидев его, говорили: — Смотри, как подрос опять этот малец! — Ближе к дому дядя пускал лошадей шагом. — Заждалась тебя твоя тетя Дорка, — говорил он, — песочных пирожных опять напекла. — Тетя уже поджидала у калитки, он бросался ей на шею, бежал во двор, где все тоже было знакомым. Утром он доставал из чулана прошлогоднюю удочку, вырезанную из орешника дядей Якабом, они ставили новую леску, крючок был еще годен, его тоже смастерил дядя Якаб, согнув в кузнице булавку и заточив ее напильником; на рассвете они вместе отправлялись в поле, Фери сначала помогал мотыжить, потом убегал на речку и удил рыбу, но, как правило, ничего не ловилось. Тогда дядя Якаб брал старую корзину и, раз-другой зачерпнув ею воду, обязательно выуживал хотя бы несколько мелких рыбешек. Фери нанизывал их на леску, а когда они возвращались домой, дядя говорил: — Смотри, Дорка, как он наловчился удить рыбу.

Фери любил дядю Якаба и теперь, сидя рядом на козлах, вслушивался в его голос, пытался подтягивать, вглядывался в прикрытое серой выходной шляпой смуглое, обожженное солнцем лицо, короткие, с проседью, усы; смотрел на его узкие, но очень сильные плечи (сколько раз дядя поднимал на его глазах тяжелые мешки), на руки с черными торчащими волосками вдоль выпуклых вен, на сжимавшие вожжи сухие заскорузлые пальцы. Лошади шли рысью, пофыркивали, дядя Якаб, заметив, как Фери поморщился и отер лицо, рассмеялся и обнял его за плечи. — Эх, братец, братец, — сказал он, — осталось тебе две недельки. — До его отъезда оставалось всего две недели, а там домой, в Пешт. Но думать об этом не хотелось. Пешт ему больше не нравился. После того как он узнал эту деревню, город сделался чужим, огромным, унылым и непривлекательным. Он в Пеште родился и все же не любил его, зато эту деревню любил очень. Он знал здесь все, каждый закоулок,

берег Иквы, поросший ивами, кладбище, сахарный завод, ферму, мастерские, полевые тропы, лес.

У футбольного поля они свернули с шоссе и по зеленой аллее въехали в деревню. Солнце освещало все вокруг оранжевым светом, позади их телеги густо клубилась пыль; лучи били из-за домов, и все: стены и крыши, изгороди и деревья — сливалось в их свете. От пыли тетя Дорка чихнула. — Попридержи лошадей, — сказала она, и дядя Якаб натянул вожжи. — Тп р-р-р! — сделал он губами. Лошади закинули головы и перешли на шаг. — А не добавить ли нам еще пивца по кружечке? — предложил дядя, подъезжая к корчме «Тренчен», на что тетя Дорка ответила: — Я не против, только не забудь, у нас скотина еще не кормлена. — В общем, завернули они в корчму. — Ноги-то как занемели, — вздохнула тетя Дорка, входя в прохладное помещение с натертым мастикой полом; она оперлась на стойку и стала растирать свои толстые ноги. Тетушка была полновата и казалась выше дяди Якаба; волосы у нее были уложены в небольшой пучок, она была в серой вязаной кофте и синем цветастом платье. В корчме сидели, потягивая вино, несколько хозяев. — В Балф нужно ехать с такими ногами, на воды, — заметил один из них. — А мы, кстати оттуда, — рассмеялся дядя Якаб и протянул жене кружку пива с шапкой пены; отхлебывая пиво, тетя Дорка подалась вперед, пена стекала на пол, а дядя Якаб, запрокинув голову, выпил все разом и попросил повторить; выпил и Фери, правда только маленький стаканчик. — Можно бы и третью пропустить, — сказал дядя Якаб, на усах у него висели хлопья пены. — Ты как, Дорка? — Ну что ты! — отмахнулась тетя Дорка. Выпить еще она не могла: что подумают тогда о ней присутствующие. — А как же в храмовой праздник? — усмехнулся дядя Якаб. — Дурень ты старый, — вспыхнула она, — болтаешь невесть что, да разве я пила тогда? — Ну да, — подтрунивал над нею дядя, — а кто ж тогда под стол свалился? — Фери, помнивший, как все было, давился смехом, тетя Дорка тоже засмеялась и поставила пиво на стол. — Так ведь то из-за стула, — проговорила она, — ножка у него подломилась, дурень ты старый! — Все трое, вволю насмеявшись, забрались на телегу и вскоре были уже дома. Перед домом Фери спрыгнул на землю и растворил ворота; у конюшни

лошади остановились. Фери с дядей Якабом помогли тете Дорке сойти, после пива им было весело. — Оп-ля, слезай, бабка, — шутил дядя, — посмотрим, помогло ли купание! — Они распрягли лошадей, и Фери поставил их в конюшню; тетя Дорка посыпала зерна цыплятам, потом, повязавшись передником, задала корм свинье; дядя Якаб залез на сеновал; там над соломорезкой было окно, через которое он сбрасывал вилами сено; Фери относил сено в ясли лошадям, те с хрустом жевали его, ржали, звенели привязью. На дворе уже смеркалось, солнце зашло, заря погасла, с этого времени до наступления темноты небо, земля и все предметы бывают почти одинакового серого цвета. Фери снова пошел за сеном, встал около люка, но дядя Якаб почему-то не появлялся. Он позвал его и, не получив ответа, вышел из конюшни, чтобы подняться по лестнице на сеновал; во дворе, в нескольких шагах от калитки, он увидел в закатной дымке молодую женщину в черном платье; она стояла не шевелясь, в руках небольшая черная сумочка, белый воротничок на темном платье, лицо бледное; она куда-то смотрела. Фери невольно проследил за ее взглядом и в дверях сеновала увидел дядю Якаба; он стоял так же неподвижно, как и женщина у калитки, они смотрели друг на друга. Потом дядя Якаб пролез в дверь, молча спустился по лестнице, тщательно вытер о штанины ладони и медленно, как-то неуверенно приблизился к женщине. Фери стоял у входа в конюшню, смотрел на них, но не разбирал, о чем они говорят; затем он увидел, как они направляются к дому, в дверях дядя Якаб обернулся и странным, вроде не своим голосом сказал: — Поди-ка в хлев, позови тетю Дорку! — Фери повиновался, тетушка с удивлением отставила корзину, сняла передник и сунула его Фери. — Курам напиться дай, налей воды, — сказала она и скрылась в доме. Фери перекинул передник через плечо, набрал у колодца воды и, взяв лейку, наполнил коричневые черепичные поилки. Сумерки тем временем сгустились, на небе появилась вечерняя звезда, потянуло прохладой. Он прошел в кухню, повесил на гвоздь передник, чуточку подождал, не позовут ли его в комнату, но, не дождавшись, вышел во двор и присел около дома. Он любил сидеть здесь по вечерам, прислонившись спиной к стене; все вокруг успокаивалось, лишь ино-

гда из соседних дворов доносились звуки, заглушаемые стрекотом цикад и ночных жуков; над двором, неслышно взмахивая крыльями, зигзагами носились летучие мыши, из конюшни временами слышался топот копыт; он сидел, погруженный в свои мысли, думая о том, отчего у него такие худые руки и весь он такой целовкий, и еще о том, что хорошо бы сделаться вдруг сильным, таким, как дядя Якаб. Тетя Дорка вышла на кухню, Фери слышал, как она звенела посудой, потом открыла дверку буфета, закрыла и ушла в комнату.— Скоро будем ужинать,— сказала она мальчику, заметив его у двери, но в дом не позвала.

Небо было уже усеяно звездами, когда те трое вышли из дома. Фери, уступая дорогу, поднялся со своей скамеечки; они молча остановились посреди двора, освещаемые лампой, горевшей на кухне.— Это Фери,— сказала тетя Дорка молодой женщине,— Фери, сын Лайоша.— Та ничего не ответила и даже не посмотрела на Фери; она стояла совсем близко от дяди Якаба и, почти не отрываясь, глядела то на его лицо, то на руки.— Так я провожу вас до станции,— сказал дядя Якаб. С этими словами они оба повернулись и скрылись в темноте. Фери услышал стук калитки и шорох шагов на посыпанной шлаком дорожке.— Давай ужинать,— сказала тетя Дорка. Обычно ловкая и проворная в движениях, теперь она медленно расставила на столе тарелки, зажарила яичницу, налила Фери кружку молока. Ели молча.— Кто эта тетенька?— спросил Фери.— Тетенька?— удивилась она.— Да ведь она еще девушка! Как она тебе? — Мне? — Фери pokrивился.— А никак. Можно я не буду пить молоко? — Не пей,— согласилась тетя Дорка.— Ложись спать.

Он проспал, должно быть, совсем немного и проснулся, когда тетя Дорка с дядей Якабом стали укладываться. Лампу не зажигали. Слышно было, как они копошились в темноте.— Сколько ей теперь? — спросила тетя Дорка.— Двадцать три,— тихо ответил дядя Якаб,— красивая девушка, правда? — В тебя.— В меня? Ты серьезно? — Еще бы не серьезно! — с сердцем отозвалась тетя Дорка.— Мать-то ее я уж и не помню,— сказал дядя Якаб.— Весь день прождала нас, бедняжка.— На поезд не опоздала? — Дядя Якаб но

ответил, потом, помолчав, сказал:— Какая она молчаливая, а? — Что же ты хочешь? — Оно так,— вздохнул дядя Якаб.— Я и видел-то ее всего один раз, ей тогда десять лет было.

Фери пошевелился в постели, они насторожились.— Ты спишь? — спросила тетя Дорка. Мальчик не отвечал.— Фери?! — окликнула она его. Сердце у Фери бешено колотилось, он боялся, как бы они не услышали его ударов.— Спит,— успокоилась тетя Дорка. Некоторое время было тихо.— Так значит, она в Бургенланде¹ живет? — нарушила наконец молчание тетя Дорка.— Там, значит, осталась?— Да, в Бургенланде,— ответил дядя Якаб.— Говорила, замуж выходит. Дай ей бог.

1963

¹ Бургенланд — область Австрии, частично населенная венграми; до 1921 года входила в состав Венгрии.— *Здесь и далее примечания переводчиков.*

Потом пришли четверо

— Рождество,— сказал Ф.,— что ж, было время, когда я верил в рождество, как и во многое другое: в праздники, путешествия, лето, длинные белые зимы. Верил теплу комнат, верил ароматам фруктов. Давно это было — в детстве. Даже, по правде сказать, не все детство, не до конца. Всякое ведь случалось — теперь уж не разберешь под ворохом воспоминаний, что и когда,— и, чему раньше верилось больше всего, то уходило, красивое сливалось с уродливым, хорошее с дурным, праздничные дни с заполненными томительным ожиданием буднями. Шли годы, и мне все реже удавалось ощутить радость, а того, что не радовало, становилось все больше и больше. Наверно, все через это проходят. Я еще долго оберегал веру в рождество, так хотелось верить его чарам; в памяти у меня сохранилось несколько чудных рождественских праздников, с запахом смолы и свечей, с поскрипывающим снегом, но уже очень давних, а может, все это просто самообман, вроде тех придуманных воспоминаний, которыми человек тешит себя, а на самом деле никогда он ничего подобного не испытал. Но я лелеял память об этих праздниках, когда все были добры друг с другом и каждый старался угодить остальным. В сочельник, о котором я хочу рассказать,— продолжал Ф.,— мне как раз понадобились эти воспоминания, ведь уже шла война и нашей семье даже собраться целиком не удалось. Сидя за покрытым белой скатертью столом, мы все делали вид, будто сейчас самый что ни на есть мирный вечер; мы радовались, что отец еще дома, что о военных действиях мы знаем лишь по сообщениям из газет, радиопередачам да кинохронике. Радовались, что мама опять приготовила винный суп, зажарила карпа и подала фиолетовый свекольный салат в старинной, стянутой проволокой глиняной миске. — Вот только

Йожи, — сказала мама, — только Йожи нет с нами. — Что ж поделаешь, — отозвался отец, — хорошо хоть, его еще не отправили. — Этому мы тоже порадовались, потому что мой старший брат, хотя его уже призывали, пока проходил подготовку как новобранец и не был с нами в тот вечер только из-за того, что не получили увольнительной. Мама отложила два кусочка жареного карпа на случай, если вдруг его отпустят после сочельника. Залила их укусным соусом с луком, как любил Йожи. На улице было холодно, но даже снег изменил памяти рождества, снега не было, только дождь моросил после обеда, а к вечеру дороги подмерзли и стало скользко. Мне тогда шел двенадцатый год, и я еще с нетерпением ожидал, когда зажгутся свечи на елке, заискрятся бенгальские огни, ждал подарков; и, когда наконец разрешили войти в комнату, я еще смог ощутить радость праздника, и, мне кажется, у отца с матерью тоже стало радостней на душе, и бабушка получила в подарок какую-то теплую одежку; мы перцеловались, и все было замечательно: и то, что все сели за стол в праздничном настроении, и то, что в печке потрескивали дрова, наполняя комнату сладковатым теплом; и винный суп был замечательный, и рыба — блюда, которые мама никогда не готовила в другие дни, так уж у нас было заведено, что эта еда подавалась только на рождество. После ужина мама поставила на стол яблоки, орехи и сладости, отец разлил по стаканам вино. Выпив, он закурил сигару. Сигары он тоже курил только на рождество, больше никогда, он от них кашлял, но и это стало частью праздника. Мы пристали к отцу, чтобы он что-нибудь рассказал: он любил рассказывать; мы требовали историй, уже сотни раз слышанных: о том, как ему в детстве покупали перед престольным праздником шляпу или как в девятьсот шестнадцатом его прямо с гауптвахты взяли на фронт. Он посмеивался, попыхивал сигарой, откинувшись на стуле, и старался рассказать уже известные истории как можно красочнее и подробнее. Он сам получал от этого огромное удовольствие, вспоминал новые детали, а мы слушали, кололи орехи и потягивали вино, ведь на рождество не обязательно ложиться до полуночи, сиди хоть всю ночь. Потом, слегка захмелев, мы начали петь, громко, сначала какую-то рождественскую песню, а

после по очереди самые наши любимые. Мы смеялись — а ну, какая же песня мамина любимая, а какая бабушкина, и все было замечательно.

— Время близилось к полуночи, — продолжал Ф., — как вдруг в дверь постучали. Мы переглянулись, кто бы это? Мама, недоумевая, поднялась, стряхнула с передника ореховую шелуху, но отец, вынув изо рта почти докуренную сигару, озадаченно и как-то странно проговорил: — Я сам... Но кто же это — в сочельник? — Он вышел на кухню, мы за ним — подглядывать, он медленно открыл дверь и сразу же отпрянул, из темноты на слабый свет вынырнул штык и тускло поблескивающая каска. Но тут каска приподнялась, и мы увидели смеющееся, румяное от мороза лицо Йожи. Все от радости вскрикнули, а Йожи сказал, выпуская изо рта клубы пара: — С праздником вас! — Ну и ну, Йожи! — воскликнул отец. — Глядите-ка, Йожи!.. — Не помня себя от восторга, мы бросились к нему. Но Йожи пришел не один: чинно, немного смущаясь своего неподобающего для сочельника вида, из темноты выступили еще трое вооруженных, как и он, солдат. Отец быстро закрыл за ними дверь. — Так ты... так вы?.. Как вы здесь оказались... и вот так? — спросил он Йожи. — Мы бы посидели с вами немного, — отвечал брат, а сам уже поставил винтовку в угол у раковины и снимал каску. — Если вам дозволено, — сказал отец, — ну конечно, входите, пожалуйста. Я только потому спрашиваю, что вы ведь в наряде, нет? — В наряде, — подтвердил Йожи, — но мы все уладили. Раздевайтесь, — поторопил он товарищей. Они тотчас повиновались, составили винтовки все вместе у раковины, каски стукнулись о каменный пол; гости расстегнули ремни и вылезли из непривычно пахнущих шинелей. Я сразу принялся разглядывать винтовки, мне никогда не доводилось видеть их так близко, осторожно прикоснулся к одной, но Йожи прикрикнул: — Не трогай, заряжено! — Я испуганно отдернул руку, а солдаты засмеялись. — Мы в патруле, — объяснял Йожи, когда, тяжело ступая солдатскими башмаками, они входили в комнату, — да вот решили, что провести вечер около рождественской елки приятней, чем бродить по улицам. — Ну конечно, — согласился отец, — только не будет ли у вас из-за этого неприятностей? — Неприятностей? — рассмеялся брат. — Какие же могут

быть неприятности? Патруль — самое милое дело, тем более в сочельник, кто проверит? — Ну, тогда садитесь к столу, — распорядилась мама, — я подогрею ужин. — Мы уже ели, — сказал один солдат, высокий, рыжеволосый, веснушчатый парень; другой тоже начал отказываться: — Спасибо, не беспокойтесь, нам бы только посидеть, а больше ничего не нужно. — Второй солдат был коренастый, с простым крестьянским лицом, черные волосы напояжены, от него пахло бриллиантином и дубленой кожей. — Ладно, ладно, — сказал отец, — на всех хватит. — Мы, право же, не хотели вас затруднять, — вступил и третий, голубоглазый, с нежным девичьим лицом, он был тихий и немного грустный. Но тут вмешался Йожки: — Я ж вам говорил, у нас гостей любят, не тратьте вы слов попусту. — Все засмеялись, правда, третий солдат и смеялся сдержанно. Как вскоре выяснилось, все трое были из провинции и страшно обрадовались, что в праздничный вечер смогут провести несколько часов в кругу семьи. — Кто знает, — говорили они, — когда нас переведут в маршевую роту и что нас там ждет!.. — Да хватит вам, — отмахнулся Йожки, — нечего сейчас об этом. Пока что мы дома, и все тут. — Мама, конечно, сразу заплакала, но отец быстренько разлил вино, тогда и она сказала: — Мы оставили немножко рыбы, сыночек, как ты любишь, в соусе. — Брат поцеловал маме руку и начал объяснять товарищам, почему он так любит рыбу в соусе, и обязательно с луком, потом приналег на еду. Когда он доел, еще раз зажгли на елке свечи и несколько бенгальских огней, чтобы солдаты тоже насладились праздником во всей его красе. Полюбовались мерцающим, искрящимся сиянием, потом снова включили свет, и отец наполнил стаканы, но гости пили умеренно, наряд-то у них был до утра. Они расстегнули кителя, закурили, рассказывали о своих семьях, о том, как их, верно, ждали домой; тот, что походил на девушку, извинившись, попросил разрешения спеть «Пастухов» — может, и нам захочется подтянуть, дома-то они всегда поют эту песню в сочельник. Голос у него был неважный, он начал тихо и немного фальшивя, но отец подхватил, за ним мама, и под конец получилось очень красиво. Потом Йожки и рыжеволосый рассказывали о жизни в казарме, всякие смешные, забавные случаи, отец все расспрашивал, как теперь

в армии то да се; время летело легко и незаметно.

— Я уже начинал дремать,— продолжал свой рассказ Ф.,— когда отец сказал: — Надо же, Йожи, как вам повезло с патрулем...— Да,— отвечал брат,— я уж было совсем расстроился, что не удастся выбрать-ся.— Все благодаря тому дезертиру,— сказал веснушчатый.— Дезертиру? — переспросил отец.— Ну да,— подтвердил солдат с напояженными волосами и пояс-нил: — Из казармы сбежал один новичок, вот мы и ищем его.— Да не сбежал он вовсе,— сказал веснуш-чатый,— просто он еще позавчера получил увольни-тельную и до сих пор не вернулся.— Э, черт,— посерь-езнел отец, ведь он, как бывший солдат, знал, чем это может кончиться.— Дело-то нешуточное! — Какие уж тут шутки,— сказал Йожи,— только не губить же нам сочельник на поиски дезертира, лучше домой за-вернуть. Потом доложим, что не нашли.— Дурень он,— отозвался напояженный,— к невесте подался, в город. Та наверняка начала упрашивать, он и раскис... — Глупо, конечно,— сказал веснушчатый. Все немного помолчали, я сразу же забыл о сне, мне хотелось по-больше узнать о случившемся. Голубоглазый солдат до сих пор не произнес ни слова, но тут отодвинул ста-кан и проговорил вроде как про себя: — Такое с каж-дым может случиться.— А-а,— сказал вдруг Йожи,— давайте-ка лучше попробуем эти замечательные пи-рожные.— Ешьте, ешьте,— принялась угощать и ма-ма,— не стесняйтесь, у меня на кухне еще есть, сей-час маковый рулет нарежу.— Это вино,— спросил на-пояженный,— случайно не толнайское? — А как же,— ответил отец,— толнайское, из Сексарда¹. Сексардское красное.— Моя родина.— Солдат поднял стакан и, глядя на свет, залюбовался рубиновым напитком.— Но как же он не вернулся? — неожиданно спросил я...— Кто? — взглянул на меня Йожи — Да тот, о ком вы говорили.— Ах, этот,— сказал брат,— поначалу-то он еще мог возвратиться, а потом его объявили дезерти-ром и назначили розыск.— Мы ему зла не желаем,— произнес веснушчатый и обнял Йожи за плечи,— прав-да, не желаем, зачем нам портить ему рождественскую

¹ Сексард — город в Венгрии, административный центр об-ласти Толна.

почь. — Праздник любви, — сказал голубоглазый; он не пил, не ел, только сидел у стола, уронив на колени руки. — Сексардское красное, — повторил тот, что был родом из Толны, — эх, развесели-ка своего сына! — И он залпом выпил. — Смотри, — предостерег Йожи, — не хватл лишнего. — По мне не заметят. — Оно конечно, — сказал отец, — по все же поосторожнее, как бы не было беды. — А если его поймают, — спросил я, — что с ним сделают? — Брат пожал плечами, потом тихо проговорил: — Расстреляют. — Расстреляют?! — ужаснулся я. — А то что ж, война ведь! — Но если он только хотел провести дома праздники? — Все равно, — сказал Йожи, — это никого не интересует. Дезертир, и точка. — Вот так просто возьмут и расстреляют? — никак не мог я поверить. — Да нет, не просто, — ответил брат, — отдадут под трибунал, но там особенно не церемонятся. — Построят взвод на казарменном дворе, — вступил веснушчатый, — в каре, барабанная дробь, и — пли!.. — Но он же никому не сделал ничего плохого! — настаивал я. — И не враг, а свой! — Сказали, что прохвост он, — горько усмехнулся тихий солдат. — я его не знал, так что не могу судить, знаю одно — с каждым из нас такое может случиться. — Ну нет, — предостерегающе сказал отец, — ты уж, Йожи, да и вы все, ребята, будьте осторожны, не попадите в беду из-за какой-нибудь глупости... — Ну а если ему не хотелось возвращаться? — упорствовал я. Йожи и солдаты посмотрели на меня: — Иногда и нам не хочется, да нужно. — Приказы нужно выполнять, — грустно сказал отец, — вы уж, ребята, поосторожней.

— Стало тихо, — продолжал Ф., — говорить ни о чем не хотелось. У всех как-то испортилось настроение. — А хорошо все-таки, — тихо произнесла наконец мама, — как хорошо, что мы собрались сегодня вот так, все вместе. Правда, отец? — Но папа сидел понурившись и ничего не отвечал. Было рождество, мы сидели в натопленной комнате, на улице скользко, морозно, а у нас на белой скатерти пирожные, красное вино в стаканах, полно яблок, орехов, и пахнет елкой, и все невольно придвинулись друг к другу, хотелось чувствовать, что ты не один. Но у меня никак не шел из головы тот дезертир. — А если б вы его поймали, — спросил я, — вы повели бы его в часть, чтобы его расстреляли? — Мы повели бы не для того, чтобы его

расстреляли, — обиженно ответил вместо Йожи вспучившийся, — а потому что такой приказ. — Да не поймает его, — сказал брат. — Хорошо бы как-нибудь сообщить ему, чтобы он спрятался! — продолжал я, чувствуя, что нужно же как-то ему помочь. — Не говори глупостей. — Йожи снисходительно улыбнулся. — Куда он может спрятаться? — Ну, куда-нибудь, где он будет в безопасности. — Никуда он не денется, его повсюду найдут, — сказал напояженный и выпил. — Всюду-всюду? — не унимался я. — Ну конечно, всюду, — недовольно ответил отец, он знал армейские порядки. — Днем раньше, днем позже, но найдут, — подтвердил брат, — нет такого места, где бы он мог укрыться. — Так, значит, ему уже не спастись, его наверняка расстреляют? — испуганно спросил я. — Довольно об этом, хватит, — взмолился Йожи. — Рождество все-таки.

— И впрямь, было рождество, — продолжал Ф., заканчивая свой рассказ, — никогда не забуду, это было рождество. Только рождественская елка стала вдруг просто деревом, маленькой, плохонькой елочкой в тускло освещенном углу. И печка начала остывать, комната наполнилась чадом, а белая скатерть помялась. В ее складках накопилась скорлупа от орехов, обкусанные яблочные огрызки. Остальные еще беседовали, еще находили темы для разговора, чокались, иногда смеялись. А я боялся. Я знал, что когда-нибудь стану взрослым. Светало, впереди было еще два дня праздника. Но у меня в голове вертелась только одна мысль, о том, что когда-нибудь, пусть не скоро, может случиться, что я тоже не подчинюсь. Невольно или потому что не смогу подчиниться. Как же тогда — мне тоже будет некуда деться?

Маша

Ее последней ролью была Маша в «Чайке». Это было хорошо. Ах, как хорошо! Играла, правда, она в провинции, в небольшом городке, но — Машу! В длинном, до щиколоток, черном платье, туго охватывающем талию. В невысоких ботинках на шнурках. Черный венец волос, бледное лицо, большие карие глаза. Это было по-настоящему хорошо. (*Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном? Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.*) Хотя тогда-то еще это было не совсем правдой. Во всяком случае, по вечерам она была счастлива. Думала: все же выпала мне такая удача, хоть напоследок, да выпала. Она встретилась с Машей, Маша встретилась с нею. Не персонаж Чехова играла она, а самое себя. Недаром в областной газете писали, что «созданный ею образ весьма убедителен».

Муж на премьеру не приехал, не приехал и на следующие спектакли. Прислал телеграмму, да и то с опозданием. На другой день после премьеры позвонил по междугородному в театр. Не сердись, Агнеш, я думал подскочить на машине, но тут предстояло делать кесарево сечение, все шло к тому, нельзя было оставить больницу. Как премьера? Хорошо? Ну, очень рад. У нас тут полно работы. Представь, Маурер впутался в какую-то историю, и, возможно, меня назначат на его место — ну, да об этом не по телефону. Потом, дома. Когда ты приедешь? Приезжай в дни, когда не играешь! Мне очень недостает тебя! Сколько раз в неделю идет пьеса? А, черт, у тебя все время распылено будет!

— Я люблю Константина... — Кажется, так и сказала она в телефон.

Муж замолчал, потом, через несколько секунд, спросил:

— Не понимаю. Что ты сказала?

— Не могу я по-другому объяснить. Не Константи́на, это по роли так, нет, нет, никого, не человека, ах, нет, нельзя объяснить. Знаешь, это прекрасно. Да не пугайся же, ах ты бедняжка! Просто я нашла наконец, раз в жизни нашла что-то такое, что люблю, что хорошо... Ах ты, боже мой, ну совсем не могу объяснить...

— Мне кажется, я тебя понимаю, — неуверенно произнес муж. — Дома расскажешь. Но теперь мне пора кончать. Агнеш? Ты слышишь?.. Алло, Агнеш!

— Я попрощалась. До свиданья.

— Господи, ты ведь знаешь, что мне надо спешить!

— Все в порядке, — ответила Агнеш. — До свиданья.

Щелчок в трубке. «Никогда я не смогу объяснить это Тамашу, — думала она. — Я останусь одна, уж это наверно». Но тогда еще было легко, тогда еще каждый вечер возникало бледное лицо, черный венец волос — Маша.

Возможно, Тамаш и вправду должен был делать кесарево сечение и все остальное. Но не приехал он не только из-за этого.

— Видишь ли, — сказал как-то Тамаш (Агнеш тогда уже долгое время не получала в Будапеште ролей), видишь ли, это надо обдумать. Совсе не объявительно, что руководство имеет зуб против тебя. А ну, как дело в тебе? — Во мне? В каком же смысле? — Если ты хорошо чувствуешь себя в театре, оставайся, я не против, отнюдь. — Нет, я совсем не чувствую там себя хорошо. Что бы ты сказал, если бы тебе пришлось просто являться в больницу, но ничего там не делать? — Помимо всего прочего, я задумался бы и над тем, способен ли по-прежнему выполнять порученное мне дело. — Что ты говоришь?! — Ты не должна сердиться. Я говорю откровенно, именно потому, что люблю тебя. Такое положение очень унижительно. Ты останешься дома, и баста! Слава богу, на нужду нам жаловаться не приходится. — Остаться дома? Но ведь я актриса! — Ну, конечно, дорогая, но еще и моя жена. И, думаю, прежде всего — моя жена... То есть, я хочу сказать, что вовсе не приму трагически, если ты впредь будешь моей женой, и только...

К тому времени, точнее, когда она выходила замуж за Тамаша, Агнеш это уже предвидела. Три-четыре сезона подряд ей перепали лишь незначительные роли,

хотя каждый раз в сентябре директор говорил: терпение, терпение, вы нам нужны. Клянусь, в этом году мы подыщем для вас подходящую пьесу.

Подходящую пьесу? Раньше для нее всегда находились роли. Девушки-работницы, девушки-крестьянки. Позже — женщины-работницы, женщины-крестьянки. Правда, слишком уж привыкли, что это у нее случается. Хотя бывали изредка и другие роли, то в Мольере, то в каких-нибудь современных западных пьесах... И хотя она никогда не имела настоящего большого успеха, успеха выдающегося, такого, чтобы стал опорой в последующие годы, — хотя такого успеха у нее и не было, но роли она все все-таки получала. Была «занята». Увы, за последние четыре-пять лет все меньше. (Погоди, подыщем тебе что-нибудь хорошее. Где бы ты развернулась, показала, на что способна...) А роли все шли маленькие, эпизодические, пять-шесть фраз, и только. В клубе киношников коллеги уже спрашивали: ты в каком театре? Все там же? Что-то тебя совсем не видно. А в кино? Уже не снимаешься?

— Что-то последнее время не приглашают.

— Правда? Ну-ну, поговорю-ка я кое с кем, напомню про тебя.

И переглядывались, когда Агнеш отходила. Кивали: ясное дело, не приглашают. Сперва продвигали, а теперь вот оно как. Да, мол, так-то. Она ведь и не была никогда особо талантлива. В сорок восьмом — пятидесятом их таких дюжинами в театральный институт набирали. Ну конечно. А теперь вот и сниматься в кино не зовут...

Сперва Агнеш терпеливо ждала. Терпение! Потом стала осаждать режиссеров, директора: скажите, на что я могу надеяться? Встречалась в эспрессо с киношниками, изредка получала крохотные роли. Третья женщина в автобусе. Две фразы. Рыночная площадь: она с криком пробегает через толпу. Вот такие. Звонила на радио, напоминала: раньше ведь меня приглашали...

Но если уж образовалась однажды вокруг человека тишина, то так тишина и останется. Все разрастающаяся тишина. Вали Кеменеш — она два года как окончила театральный институт — вечерами вздыхала рядом с Агнеш в театральной уборной:

— Ох и устала, просто до смерти. Утром — дубляж, потом репетиция в театре, потом — телевидение, вечером — спектакль, а уж после него, в полночь, — запись на радио. Просто кошмар...

И в жизни Агнеш была когда-то такая же вогонка. Пятьдесят третий, пятьдесят четвертый... сколько лет это длилось? С того времени, как ее «открыли» на районном конкурсе чтецов-декламаторов, сколько же с того времени минуло лет? (Поразительно, восхищались члены жюри, что за прекрасный, от природы поставленный голос, какая естественность движений, какой самородный талант! Откуда ты, девочка? — Из Халеса. — Откуда?! — С хутора. Халес называется.)

— У меня пятки были в трещинах, ей-богу, — рассказывала она Тамашу на вечеринке в ту повогоднюю ночь, когда они познакомились.

— Вы просто хвастаетесь, — не верил ей Тамаш. — По вас этого не скажешь. Эти длинные ресницы, кольца, парижское платье... Вы просто придумали эту сказочку с хутором, чтобы казаться еще интересней.

— Вот как-нибудь свезу вас туда, — сказала Агнеш. Они сидели на покрытом паласом диване, из больших стаканов пили «чинзано». И поправила: — Как-нибудь приглашу вас. Увидите мою мать, старую крестьянку, и отца, вот так-то. И этот хутор, грязь...

— Хутор, — повторил Тамаш. — Звучит весьма романтично. Вот смотрю я на вас... Хутор и театр... так рядом. Знаете, для нас, «непосвященных», театр — великая тайна. Волнующая тайна. У меня был абонемент в Национальный театр, еще когда я ходил в гимназию. Но и сегодня я восхищаюсь театром так же, как в детстве. А вы можете жить там, в театре. С хутора — и прыг-скок — в театр! Знаете, кто вы? Иллюстрация номер десять к главе: «Культурная революция».

Тамаш смеялся. Да, думала тогда в легком опьянении Агнеш, да, мы полагали, что будущее принадлежит нам. Интернат, театральный институт, съемки в кино, роли — как хорошо все шло. Некоторые сделали блестящую карьеру. Стали большими артистами. А я? Одно время и меня нес, увлекал с собою мощный поток, но потом? Она усмехнулась. Иллюстрация к культурной революции, вот и все.

К этому времени Агнеш уже очень боялась. Ей стукнуло тридцать, и тишина вокруг нее сгущалась. Чего-то не хватает во мне, думала она. Может быть, всегда не хватало. Я была природным материалом, и только. Но «истинным художником» так и не стала.

После обеда, посиживая в эспрессо за кофе, она поначалу еще бунтовала. Искала оправданий, дешевых объяснений. (Ну, конечно, Вали Кеменеш — фигуристая баба, переспит с кем надо, и успех обеспечен.) Но уже знала, хотя не хотела еще себе признаться, что нет больше надежд. Что она выдохлась.

Вот тогда-то, чтобы хоть обеспечить себе приличное существование, она ухватилась за Тамаша. Квартира, машина, муж — врач-гинеколог. Если она будет с ним, до большой беды дело не дойдет. Совсем вниз она не скатится.

Тамаш, которому было уже сорок лет, любил ее. Ему нравилось, что у него жена актриса, не великая актриса, а как раз такая, чтобы в обществе про них говорили: о, да, да, врач и актриса... Он чувствовал, что Агнеш ищет в нем поддержки, и знал, что никогда ее не оставит. Третья жена — пора и угомониться.

Агнеш сбегала в замужество в самый последний момент, когда еще не очень заметно было, что это замужество — бегство. В театр она ходила уже, можно сказать, только за зарплатой, на сцене появлялась в месяц раз пять или шесть, не больше. Занимала себя Тамашем, его работой. Заставляла его рассказывать о больнице решительно все. Она хотела быть хорошей женой, больше ничем. Старательно разучивала эту роль.

И какое-то время у нее получалось, несколько месяцев. Но потом ее охватил страх. А что, если я не вправе отказываться от театра? — думала она. А что, если мне надо бороться? Дома исподволь стала разучивать новые роли. Она не жаловалась, но Тамаш видел, что она страдает. Да и ему меньше уделяет внимания. (Теперь хорошо. Теперь вечерами Маша говорит: *Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее... не могу больше...*) Они ходили к знакомым, сами звали к себе гостей. Часто Тамаш не мог быть на этих вечеринках: дежурил в больнице. После дежурства в такси мчался домой. К этому времени Агнеш уже ус-

певала много выпить. И играла. Крестьянскую девушку, сломленную женщину, скучающую женщину, мольеровскую служанку. Гости, пожалуй, и не замечали ее игры. Не видели. Тогда однажды она сбросила с себя маску актрисы, маску светской женщины и, босая, встав на ковре, замахала судорожно вывернутыми ладонями, закричала:

— Какого же черта вы твердили, что я талаптлива? Ведь и я тоже поверила! Какая гадость!..

На нее смотрели растерянно, она опомнилась, мрачно забилась в угол, не зная, что теперь с нею будет. Тамаш утешал ее, уговаривал:

— Не пей! Зачем ты пьешь, видишь, что получается?

— Да, это ужасно, — сказала однажды в театральной уборной Вали Кеменеш. — Не то чтобы я боялась будущего сезона, но ведь те, кто окажется на улице, что им делать? Артист — в театре артист. Дома он уже не артист, не правда ли?

Радовался ли Тамаш, когда договор с Агнеш по возобновили? Возможно. Но одно точно: он надеялся, что теперь-то ее мучения кончатся. Агнеш потихоньку успокоится, не будет разрываться между театром и домом. Положение станет более определенным.

Агнеш предчувствовала, что на следующий сезон договора с ней не возобновят, и все же, когда ей сообщили о решении официально, восприняла это, словно судебный приговор.

— Не мешай, — отвечала она Тамашу, когда он пытался заговорить с нею. — Не мешай, я думаю. — Она сидела на диване и все повторяла про себя: конец, конец, конец...

Ей позвонил ее коллега актер, также выставленный из театра, и стал взволнованно объяснять, что организует небольшую актерскую труппу, они будут ездить с легкими концертными программами по провинции.

— Не знаю, — ответила ему Агнеш, — не знаю. Наверное, есть другие, которым это нужнее.

Бывшие коллеги стали для нее чужими, чувство былой общности с ними исчезло. Слушая, как они возмущаются, ругают начальство, она лишь кивала, но сама никого не ругала. Ну, конечно, говорили про Агнеш, ей легко, муж — гинеколог, хорошо зарабатывает...

Агнеш занималась дома стряпней, подолгу сиживала в эспрессо, ходила смотреть фильмы в клубе кинематографистов, изредка ее приглашали дублировать. Пожалуй, и это надо бы оставить, так еще хуже, думала она. Надо покончить со всем сразу.

В конце октября позвонил по междугородному телефону Лоранд, главный режиссер театра в городке N., сказал, что может дать ей роль в чеховской пьесе. Возьмется ли? Агнеш испугалась. Молчала в трубку. Наконец спросила: какую роль? — Маши. Вместо Терп Ловас. Терп ждет ребенка, ее нельзя выпустить в этой роли. — Конечно, конечно, — пробормотала Агнеш, — если Терп ждет ребенка... ну конечно... Машу... конечно...

Тамаш не радовался, что она согласилась.

— К чему вновь растравлять рану, — сказал он. — Ведь так она никогда и не заживет. Не одобряю.

Спектакль шел двадцать пять раз. Правда, в провинциальном городке, а несколько раз и вовсе выезжали с ним в села. Но все это было неважно. Она выходила на сцену бледная, в черном платье. *У меня такое чувство, как будто я родилась уже давным-давно. Жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... Не бывает никакой охоты жить... Конечно, все это пустяки. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.* Ей хотелось, чтобы Тамаш увидел спектакль, увидел ее, услышал ее признание. Быть может, он понял бы тогда кое-что, что объяснить невозможно. Лоранд, режиссер, радовался, что Агнеш удалась роль. (А ведь директор не верил в тебя, но я настоял, я-то давно тебя знаю. Я знал, что ты справишься...) Агнеш принимала комплименты, но не хранила их в душе, они выпадали из памяти, не были ей нужны. Не хотелось думать и о том, что будет всего лишь двадцать пять представлений. Хотелось жить Машей, куда можно. Ее оставляли равнодушной аплодисменты публики, не думала она и о том, что кто-то, может быть, придет из Будапешта, увидит, на что она способна, о ней напишут в театральном журнале. Когда-то прежде это было важно для нее, теперь уже нет. Она одного хотела: быть Машей. И каждый раз нетерпеливо ожидала вечера. В черном платье ходила по сцене, пила водку с Тригориным и любила Константина. Говорила о Константине, но не о Константине думала. Говори-

ла: *А все же я храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву.* По думала при этом не о Константине Гавриловиче.

Хорошо было бы обо всем этом поговорить с Тамашем. Часто Агнеш думала, что муж ее совсем как Медведенко, учитель. Конечно, это было несправедливо. Но чувство такое все-таки было. Что он только любит ее, любит, но по-настоящему не понимает.

Прекрасны были эти дни. Жить Машей, ходить в черном платье, и, попросив Тригорипа прислать книгу с автографом, так сказать ему: *Только не пишите «многоуважаемой», а просто так: «Марье, родства не помнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете».*

После двадцать пятого спектакля Лоранд, режиссер, очень жалел, что пока не может дать ей новой роли. Но в ближайшем будущем... Агнеш кивала ему, но не очень-то верила в это ближайшее будущее. Она вернулась домой, в Пешт. Тамаш огорчился, что так и не вырвался посмотреть ее в «Чайке». Агнеш только улыбалась в ответ.

— Знаешь,— сказала она,— может, это все не так уж и важно...

А однажды — это было уже зимой, когда они махнули на хутор к ее старикам,— Агнеш сказала мужу:

— Наверное, все эти члены жюри, ну, тогда, на конкурсе декламаторов, хотели мне добра. Конечно же, они мне хотели добра, да только у меня-то тогда еще ума не хватало, не знала я, что для меня на самом деле хорошо. Я тоже хотела хорошего, очень хотела... Потому теперь так тяжело. Все еще тяжело...

Они прогуливались вокруг хутора. Маленький «остин» стоял возле беленой стены крестьянского дома, чернели поля, снега не было и в помине, все окрест окутал туман. Во дворе Агнеш взяла Тамаша под руку. В доме готовился ужин — колбасы из только что заколотой свиньи, а они вышли перед ужином погулять. *Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек... и меня сильно любит...* Да, так говорит Маша. И пьет водку. Бедняжка.

Железнодорожная улица, 7

Портье в гостинице выразил сожаление: мест нет, сказал он, все кровати заняты, вам бы загодя заказать номер из Будапешта... Напрасно он объяснял, что узнал о командировке всего лишь за полчаса до отъезда, не возвращаться же теперь, не закончив дела. Нет ли все же какого-нибудь выхода? Портье мялся, выждал, пока гость сунет ему в руку двадцатку, и только тогда дал адрес. Железнодорожная улица, семь. Место надежное, плата за ночь — пятнадцать форинтов. А далеко ли? К сожалению, далеко, на самой окраине городка.

Стояла зима, было холодно, морозно — и где-то надо же было переночевать. Он шел долго, пока наконец добрался до указанного дома. Здесь все уже напоминало деревню: заборы из штакегника, лай собак, немощеная, в рытвинах, дорога.

Калитка была открыта. Из застекленной, занавешенной тюлем двери во двор падал свет.

Дверь открыла женщина лет тридцати. Нисколько не удивившись, сказала: проходите, пожалуйста. Он принялся было объяснять, вот, мол, получил адрес от портье, но женщина дружелюбно прервала его: вы входите, входите, холодно же. Гость смущенно повиновался. В кухне, где он оказался, пахло мылом и паром, в плите трещал огонь, ото всего веяло чистотой. За покрытым клеенкой столом сидело двое детей: совсем еще маленький мальчик и девочка лет восьми. Поздоровайтесь, сказала женщина. Девочка тоненьким, певучим голоском приветствовала гостя, но мальчик только молча глядел на него. Йожика! — прикрикнула на братишку девочка. Йожика, ты что, не слышишь? а ну, поздоровайся как следует.

Дядя, не сразу выговорил малыш. Да, дядя, улыбнулась хозяйка. Она предложила гостю сесть, предварительно вытерев краем передника белый кухонный

стул. Я сейчас, извинилась она, только накормлю детей ужином.

Гость снял шубу и сел возле плиты. Он смотрел, как мать кормит малыша. Кушай, маленький, овощи твоим косточкам нужны, терпеливо приговаривала она. Девочка не ела, серьезно разглядывала пришедшего. Гостя слегка разморило от тепла; целый день он мотался по окрестным селам, зимний холод вытянул из него все силы. Он оглядел кухню. На буфете блестели начищенной медью ступка, котелок, весы и взбивалка. На стене — старомодные часы с большими римскими цифрами. Чистый, выложенный черно-белой каменной плиткой пол.

А она-то как хороша, подумал он. Мягко спускающийся на шею узел волос, бледное, тонкое лицо, большие глаза. Интересно, где ее муж?

Молодая женщина накормила детей. Вот уложу их и приготовлю вам что-нибудь поесть, сказала она равнодушно, хотя и приветливо. Она несколько раз выходила из кухни в комнату, принесла оттуда ночную одежду детей и, прежде чем переодеть их, погрела ее над плитой. Пояснила: в комнате мы не топим. Сейчас она стояла совсем рядом. То и дело гибким движением наклонялась, юбка при этом туго обтягивала бедра. Интересно, придет ли домой муж или, может быть, он дома, только где-нибудь во дворе? — думал гость.

Женщина взяла малыша на руки, девочка, шаркая ножками, пошла за нею. Из комнаты слышно было, как они возились, шуршали постельным бельем, ласково переговаривались.

Ну как, яичницу с салом есть будете? — спросила хозяйка, вернувшись в кухню. Другого-то у меня все равно нет, так что не обессудьте. Он поблагодарил, сказал, хорошо. Вымыл руки, хозяйка подала ему чистое полотенце. Все у нее получалось непринужденно, так, словно она знала своего гостя уже давно. Соль, перец — приговаривала она, накрывая на стол. Пока он ел, убрала одежду детей.

Утром вам рано вставать? — остановилась она у стола. В семь. К восьми мне надо быть в управлении. Женщина не спросила, в каком управлении, только завела будильник, потом пошла в комнату. Уж не безмужняя ли она? — размышлял гость. Тогда, пожалуй, дело-то на мази.

Он даже вздрогнул, когда она вновь вошла в кухню. Посмотрел на нее внимательно: чего она ждет от него, эта женщина? Может, в ее движениях обнаружится вызов, какое-то поощрение?

Если хотите помыться, услышал он вдруг, в кастрюле теплая вода. Я пойду лягу, через несколько минут можете войти. Разденьтесь здесь, в комнате у нас холодно. Гость оторопел. Где я буду спать? — спросил он. Там, в комнате, ответила женщина. К сожалению, у нас только одна комната. Портье не сказал вам? Я обычно сдаю диван.

А муж? — хотел спросить гость, но она уже исчезла за дверью. Некоторое время он сидел неподвижно. Ему хотелось расслышать, как она раздевается. Он прислушивался, нервы его были напряжены, господа, все идет как по маслу, думал он. Быстро умылся. Пижаму он всегда брал в командировки с собой. Погасил свет на кухне и со взволнованно бьющимся сердцем вступил в комнату. Помещение было заставлено шкапами, у стены рядышком стояли две кровати, на одной спали дети, на другой лежала женщина. На ночном столике горела маленькая лампа.

Он остановился посреди комнаты. Вот диван, указала она в угол, я там постелила вам. Он не двигался. В комнате было холодно. Женщина лежала, натянув перину до самого подбородка. Не бойтесь, утром зазвонит будильник, не опоздаете. Да поскорее ложитесь, а то простудитесь. Голос ее звучал так естественно, что гость в смущении отвернулся. Присел на край дивана. Дверь закрыта, думал он, дети спят, а она лежит в постели. И все же он был совершенно в растерянности. Скажите, когда ляжете, услышал он голос женщины, я подожду гасить лампу. Да, да, ответил он и забрался под перину. Постельное белье пахло приятной свежестью. Он вытянулся и ощутил под ногами что-то гладкое, приятно теплое.

Не пугайтесь, я в ноги бутылку с горячей водой положила, сказала женщина. В комнате холодно, мы здесь всю зиму не топим. Но с бутылкой хорошо будет. Можно потушить свет? Да, пожалуйста, хрипло произнес гость. Он лежал в темноте с открытыми глазами и недоумевал. О чем думает эта женщина? Неужели она не боится? Или ждет, чтобы я подошел?

Ну, как, согрелись ноги? — спросила она. Да, все прекрасно. Ну, тогда спокойной ночи.

Спокойной ночи, ответил он и все еще ждал. Но скоро услышал равномерное посапывание: женщина уснула.

Он проснулся оттого, что женщина в наброшенном на плечи пальто стоит босиком возле дивана и трясет его. Не слышали будильник? Семь уже миновало. Припести вам пальто? А то простудитесь.

Она принесла пальто, положила его на перину и вышла. Слышно было, как загромыкала чем-то, видно, растапливала плиту. Было еще темно, на кухне горела лампа. Здесь уже было тепло, когда вошел гость. В тазу — теплая вода, на столе — чашка чаю.

Женщина была теперь растрепанной, в поношенных домашних туфлях, в пальто, накинутом поверх ночной рубашки. Худенькая, она стояла возле стола, скрестив руки на груди. Он молча смотрел на нее. А что, ваш муж в ночную смену работает? — спросил наконец. Нет, — ответила женщина. — Умер у меня муж. На переезде шлагбаум не опустили, он на грузовике въехал на рельсы, а тут поезд. В прошлом году. Могу дать вам немного сала к чаю.

Нет, — отказался он, — в такую рань я только чай пью. А вы не боитесь гостей? — спросил он чуть позже.

Я никого не боюсь, — ответила женщина. И улыбнулась. — Люди ведь не плохие. — Ну, попадают и плохие, возразил мужчина. — Может быть, пожалала плечами женщина, я про это не думаю.

Позавтракав, гость решил расплатиться. Он знал, что с него причитается пятнадцать форинтов за ночлег и сколько-то еще за еду. Протянул тридцать форинтов. Она не поняла его. Пятнадцать, да пять за ужин и два за завтрак — это двадцать два. — Возьмите, пожалуйста, настаивал он. — Возьму сколько полагается, решительно сказала она. Не больше.

Она помогла ночному гостю надеть пальто и проводила его до дверей. Сказала: счастливого вам пути. Опять улыбнулась и попрощалась легким кивком.

Два Петре

Дети тотчас же окружили машину.

— А ну, кыш отсюда! — Шофер замахал руками, как будто разгонял цыплят. Он захлопнул дверцу машины. Весело галдя, дети отбежали, но не слишком далеко.

— «Мерседес», — пояснил приятелям мальчуган. — Это не частник.

— Я и частника па «мерсике» видел, если хочешь знать...

Шофер застегнул на груди молнию непромокаемой куртки, подбросил на ладони ключ зажигания, он висел на брелоке в виде автомобильного колеса.

— Эй! — крикнул он мальчику, стоявшему ближе всех. — Где здесь корпус «В»?

Вдоль тихой улочки вытянулись одинаковые одноэтажные дома. Серые, грязные дома старого города.

— А вон там, напротив!

— Ну ладно, — сказал шофер смягчаясь. — Но чтоб я вас больше не видел около машины!

И пошел, высоко поднимая ноги, чтобы не испачкать ботинки. Он любил, когда обувь чистая. И еще любил белые рубашки и галстук.

Корпус «В», квартира восемь. Где-то, видимо, жарили колбасу — из подъезда несло подгоревшим жиром. Во дворе в деревянной кадке стоял олеандр. Дождь уже кончился, но было грязно — ноябрьская слякоть. Олеандр, на котором еще кое-где сохранились цветочки, напомнил шоферу его детство, Обуду¹.

Он постучал в дверь. Стекло завешено было изнутри. Дверь приоткрыли — она проскрипела по камешному полу и застряла, выпустив клуб пара.

¹ Рабочий район Будапешта.

— Кого вам? — показала в узком проеме старушка. На голове у нее был выцветший платок, рукава засучены до локтей.

— Мне нужен товарищ Петре!

— Товарищ Петре? — Она явно удивилась, потом крикнула в дом: — Отец, это к тебе! — И тут же отступила, чтобы пропустить гостя

Войдя, шофер встал около водопроводного крана, поздоровался. Из-за кухонного столика поднялся, снимая очки, старик — он надевал их только для чтения. Газета лежала тут же, на столе, рядом с посудой.

— Мы как раз обедали.

На кухне было жарко, окно запотело, пахло едой.

— Товарищ Петре? Меня послал за вами товарищ Петре.

— Лаци его послал, — быстро сказала старушка. Шофер кивнул.

— За мной?..

— Да, да, я здесь на машине. Товарищ Петре ждет нас. Он сказал, что срочно.

— Лаци просил, вишь, срочно приехать, — пояснила хозяйину жена.

Старик потоптался.

— Так вы того... присаживайтесь!..

— Нет, я подожду там, в машине.

— Что-нибудь случилось? — осторожно спросила старушка.

— Ничего не случилось, — сказал шофер. — Товарищ Петре дал мне адрес и приказал съездить за товарищем Петре. Он нас ждет в своем новом доме.

— Ой, в новом доме! — обрадовалась старушка. — Ну так ты быстрее, отец!

— Надо бы приодеться. Дай-ка мне чистую рубашку.

Шофер посмотрел на часы.

— Но вы уж по-быстрому, а? Я буду на улице в машине. Здесь, напротив дома.

— Сейчас, сейчас, — засуетилась старушка. — Вы уж не беспокойтесь. Ой, отец, да не стой же тут, ступай в комнату, сейчас дам тебе рубашку. Да и ботинки надо бы почистить.

— Словом, пять минут максимум, — кивнул шофер. Дверь опять приоткрылась и застряла. Шофер протиснулся боком.

Дети, разумеется, снова торчали около машины. Но, увидев его, мигом разбежались.

Шофер включил радио. Было тепло, уютно.

Старый Петре, спотыкаясь, спешил к машине. На нем была белая рубашка, воротничок высовывался из-под пальто. Он суетливо обошел «мерседес» кругом, наконец шофер, перегнувшись на сиденье, пажал ручку дверцы. Петре сперва сунул в машину голову, потом забрался и сам, кое-как уселся, с трудом и крепко хлопнул дверцей.

— Э-эх,— кротко и поучающе сказал шофер,— это ведь не какая-нибудь малолитражка. Прикройте спокойно, мягко, она защелкнется сама.

— Да сорвалось у меня,— оправдывался старик.

Машина тронулась. Тихо гудел двигатель. Петре уперся сперва в передний щиток, но, когда выехали на проспект Красной Армии, откинулся на сиденье. Он поглядывал на шофера: надо с ним заговорить или как? Кашлянул, сложил руки на коленях. Машина шла мягко и быстро между пескончаемыми потоками грузовиков. Шофер следил за дорогой.

Проезжая мимо автопарка в Кишпеште, Петре достал из кармана пачку сигарет и, робея, боясь помешать водителю, предложил ему сигарету.

— «Кошут»...

— Спасибо, не надо.— Молодой человек мягким жестом отклонил сигарету.

— Не курите? — сказал понимающе Петре.

Тот не ответил. Когда уличное движение стало менее напряженным, шофер нагнулся, открыл перед носом у старика ящичек в щитке и вытащил красивую пачку сигарет. Петре не смог прочесть название, только заметил, что нарисован на пачке верблюд и пирамида. Молодой человек ловко выщелкнул одну сигарету и вытащил ее зубами.

— Прикуривайте,— протянул спички старик.

— Нет, я вот так...— Он щелкнул зажигалкой.— Вот пепельница,— показал старику.

Шофер больше не произнес ни слова. Они проехали город, проскочили через мост Эржебет и оказались в зеленом поясе Буды. По грунтовой дороге поднялись вверх, по обе стороны тянулись виллы. Старик еще не видел нового жилья сына, не знал даже, где оно хотя

бы примерно. Он с любопытством озирался по сторонам, но спросить у шофера не решался.

Машина остановилась у ограды, заросшей кустами сирени. За ней виднелись деревья, большая серебристая ель и ореховое дерево. Приусадебный участок спускался от улицы вниз, там, внизу, скрывался дом.

— Вон ту ручку назад... Не так! Назад...

Старик наконец-то открыл дверцу.

— Я пойду впереди,— сказал шофер.

Вниз, в сад, вели ступеньки. Ступеньки из бутового камня. Трава была мокрая. Сад устроен был террасами; на клумбах увядали георгины. На пышных, но запущенных розовых кустах алели бесчисленные бутоны. В самом низу, на площадке в двести квадратных саженей, стоял дом. Дом был с башенкой, с закрытой, полукругом верандой, желтыми стенами. Какой-то мужчина в комбинезоне красил жалюзи.

— Приехали? — Из-за дома появился молодой Петре. — Мы с Клари хотели в воскресенье заехать за вами, но не успели,— сказал он отцу. И помахал шоферу рукой. — Хорошо, Дюла. Через двадцать минут я буду готов. Подождите на улице.

Шофер кивнул и, подбрасывая на ладони ключ зажигания, не спеша удалился.

— Так вот он, дом? — спросил старый Петре. Он осматривал дом, листовую кровлю на башенке, стены, водосточные трубы.

— Ну? — подошел к нему сын.

Он был выше отца. Пальто накинуто на плечи, черные волосы растрепаны — молодой Петре явно спешил. Руки он держал перед собой: пальцы были в краске: видимо, за что-то схватился. — Ну, что вы скажете, папа? Четыре комнаты.

— Четыре комнаты?

— Для детей, Клари, для меня. Еще гостиная. Или как там ее... Плюс кухня, ванная, гардероб, внизу подвал. Как-нибудь попозже и мансарду можно надстроить. Пошли, посмотрите!

Он открыл веранду. В доме пахло свежей краской, голые стены, выскобленный пол.

— Вапцу Клари просила с зеленым кафелем,— смеялся молодой Петре. — Красиво, правда? Знаете, сколько мне пришлось побегать за зеленым туалетом? Ну, почему вы не заходите?

— Ботинки грязные.

— Нравится?

— Так что ж... Господский дом.

Молодой Петре рассмеялся. Взглянул на часы, ласково подтолкнул старика в коридор.

— Видите ли, отец, нельзя уже было иначе. Клари не любит жить в городе. Я тоже. Я ведь беру работу из миистерства домой, мне покой нужен. И вообще. К тому же совершенно даром вышло. Дом государственный, наличными надо было платить всего десять процентов, то есть пятнадцать тысяч форинтов. А остальное дядюшка-государство просит в рассрочку... И на наше счастье, здесь было всего два жильца. Одному — пожалуйста, наша квартира, другому раздобыл квартиру в новом микрорайоне. Банди устроил.

— Банди?

— Да вы знаете, это мой друг. Работает в жилищном отделе, с полуслова понял... Ну, ладно об этом! Я попросил вас, папа, приехать, потому что есть тут одна работенка. Надо бы сделать дверь к гардеробу. И полки в детскую. И рабочий стол. Складной. Для вас, папа, это пустяки. Просто развлечение. Материал я достану, дело за вами. Работать можете здесь, в подвале. — Он снова взглянул на часы. — В два у меня совещание. — Обнял отца за плечи. — Что, старый пенсионер, работенка по специальности? Чужого мастера взять, так одни лишь расходы. Пьют, обманывают... Сегодня пятница, к понедельнику будут доски, велю сюда привезти ваш столярный верстак. Как мама, хорошо?

— Ждала очепь...

— А, ну вы видите, что здесь? Утром переселяемся, эти уже свезли к нам туда свои вещи, словом, сумасшедший дом, да и только. В общем, красиво, да?.. Черт бы побрал, руки у меня в краске.

— Смой растворителем. У маляра есть растворитель.

Он смотрел, как суетится сын: вот оттирает руки, а сам проверяет работу маляра; а вот уже бежит обратно, полы пальто так и развеваются. Какой он элегантный. Бодрый.

— Как дети?

— О, они то и дело вас вспоминают! Бабушкино

песочное пирожное да бабушкины булки!.. Ну, папа, так вы сделаете, договорились?

— Сделаю, сделаю.

— Ну, я лечу. Мы бы отвезли вас на машине, но к двум я должен быть в министерстве.

— Ступай, ступай. Работа прежде всего. А домой я и на трамвае доеду.

— Поезжайте на автобусе! — крикнул па бегу сын.

— У меня проездной на трамвай.

— Да бросьте вы!.. — Он бежал вверх по бутовым ступенькам. — Маму целую! А в понедельник привезем верстак!

Старый Петре махнул: хорошо, мол, договорились. На улице загудел мотор. Маляр посвистывал, смотрел на старика, но ничего ему не сказал. Петре вдруг заметил, что слоняется по саду без дела, и зашагал домой. Здесь, в горах, было тихо-тихо.

1967

Альберт и его жена

Летом, в погожие воскресные дни, стосковавшиеся по природе будапештцы заполняли тропинки горы Тюндер¹; цепляясь друг за друга, пробираясь сквозь заросли кустарника, поднимались они в гору и на каком-то участке пути видели одинокий домик в долине, а возле него — неподвижно греющуюся на солнышке супружескую пару средних лет. Люди останавливались и глядели на них, завидуя их покою. Прислонившись спиной к стене, вытянув ноги, уронив вдоль тела руки с повернутыми кверху ладонями, супруги сидели на брошенном за домом хворосте и, закрыв глаза, подставляли лица солнцу. С горы они казались совсем крошечными. Мужчина был в черных брюках и белой рубашке, женщина — в цветастом шелковом платье. Иногда ветерок шевелил их редкие волосы, и супруги будто бы двигались, а может, это только казалось. Их мирный домик с желтыми стенами под красной черепицей и с зелеными жалюзи одиноко стоял в долине; кое-кто дивился даже про себя, почему они построились в таком пустынном месте, ну да ведь всяко бывает, иной раз выбирать не очень-то и приходится и люди селятся там, где могут.

Вот и им, должно быть, не пришлось выбирать. Альберту и его жене.

Как только становилось тепло, они с утра усаживались на хворосте за домом — это была их отрада по воскресеньям. В зимние вечера они посиживали у огня, пили чай, Альберт курил, жена латала рубахи; иногда она снимала очки и вздыхала. От сырости на стенах проступали пятна, к марту они зарастали бесцветным пухом, сырость забиралась даже в постель. Но потом начинало припекать солнце, Альберт с же-

¹ Гора в Буде, в переводе с венгерского — Волшебная гора.

ною открывали настежь двери, окна и наконец выби-
рались на солнышко сами. Весеннее солнце прогрева-
ло их тела, приятно было нежиться в его лучах.
Вкусно пахла земля, рядом с ними, растянувшись на
белых камнях, грелись ящерицы; Альберт любовался
ими из-под опущенных век; он подталкивал локтем
жену, чтобы и она посмотрела на грациозных зеленых
зверюшек. Ему думалось, что ящерицы и они с женой
сейчас одинаково наслаждаются жизнью, и, не будь
это смешно, он сказал бы ящерицам, что в такие вот
дни судьбы их совсем одинаковы, он даже немного
умилялся такому родству, но тут же и сердился на
ящериц: они-то и в понедельник, и в любой день неде-
ли могут так же греться на солнце, но он и его жена —
нет, это уж точно. А ведь какое наслаждение в хоро-
шую солнечную погоду посидеть возле дома, послушать
доносящийся из ближнего леса птичий гомон, полако-
миться земляникой, подремать в тишине или смотреть
на облака.

В будни Альберт работал на заводе, катал от стан-
ка к станку тележку на резиновом ходу в гулком,
пропахшем машинным маслом цеху. Он забирал от
станков шестерни, складывал их на тележку, затем вез
груз в отгороженный проволоочной сеткой угол, там
выкладывал детали на железный стол; когда он кон-
чал, мужчина в синем халате всякий раз говорил ему
«спасибо». Альберт стоял около пего несколько минут,
отдыхая — ведь сколько раз поклонись да разо-
гнешься, пока выгрузишь детали! — закуривал, смот-
рел, как мужчина в синем халате измеряет своим ин-
струментом шестерни. Он делал это с утра до вечера,
как Альберт с утра до вечера катал тележку и таскал
детали. С утра до вечера, много лет подряд, преры-
вая работу только в полдень, чтобы, расстелив газету
на замасленной тележке, сесть и съесть свой обед.
В четыре часа наконец раздавался звонок, Альберт
откатывал с дороги тележку, шел через весь цех по
черному от сырости бетонному полу и выходил на
солнце. Или под дождь. Или в снег. Но теперь было
тепло, и ему казалось, что из цеха он всегда выходит
на солнце. На солнце. Хорошо было на солнышке —
поначалу оно слепило, но Альберт любил свет и не
жмурил глаза, ему хотелось видеть небо и деревья. До
семи утра не надо было думать о цехе, он торопливо

умывался, одевался, садился на трамвай и ехал домой — в свой маленький дом у подножия горы Тюндер. Но всегда оказывалось, что уже поздно, быстро смеркалось, так что дома он проводил только ночь, а ночью, известное дело, деревьев почти не видно, а уж синего неба и подавно, оставалось смотреть на звезды — они, конечно, тоже очень красивые, но Альберт больше любил бесконечную синеву и зеленый лес, таким уж он уродился.

В воскресенье цех отступал куда-то далеко-далеко, Альберт не думал о нем, но день пролетал быстро, и вот уже опять приходилось думать о том же.

Он завидовал ящерицам и сердился — им, наверное, все-таки лучше живется. И думалось ему: какая-то ящерица, черт побери, счастливей меня и моей жены. Но ведь эта самая ящерица только никчемная тварь, а он и его жена — люди; белый свет-то ведь он для людей и есть, так оно вроде бы, а коли так, то каждый день греться на солнышке положено им, а не ящерицам, к примеру, коли уж о них пошла речь.

Альберт много размышлял в эти воскресенья, думал и о том, что, сложись его жизнь смолоду поудачнее, сейчас, может, и не катал бы он тележку и жил совсем по-другому, но раздумья его всегда кончались тем, что нужно кому-то и тележку катать, а коли так, то и жалеть не о чем, он ли, другой ли — кто-то все равно завидовал бы ящерицам.

Он никогда не спрашивал жену, занимают ли ее подобные мысли, не умел он о таких вещах говорить; ведь вот интересно: про себя он великолепно мог рассуждать о чем угодно, а вслух никогда. Бедная — он смотрел на сухие, жилистые руки жены, — да, и она постарела. Но держится еще. Как говорят, слава богу, тянет еще тетка. Жена работает уборщицей в большом учреждении; она рассказывала ему как-то об этом современном доме сплошь из стекла и бетона, но Альберт даже не знает, где он, этот дом, не знает, существует ли он вообще, и не представляет себе, куда уходит и откуда возвращается каждый день его жена. Она тоже приносит домой деньги, они — единственное, что реально для него и понятно.

Воскресенье — единственный день, когда они с утра до вечера вместе, видят друг друга, верят, что существуют оба. А в будни, ей-богу, странное дело. Где они,

что делают? Исчезают, как в водовороте, и встретятся ли вечером снова? Чужие. Друг другу, всем. Два человека в пугающе огромной толпе. Но воскресенье надежно. Можно даже за руки взяться — и утром, и в полдень, и вечером. С утра до вечера можно жить как все. Как короли или как ящерицы. Да, как ящерицы.

Только воскресных дней очень мало. Мало в году, мало в человеческой жизни.

Летом, в погожие воскресные дни, поднимаясь в гору или возвращаясь с прогулки, можно было видеть их, греющихся на солнышке возле дома. И вот однажды, в августе, на закате некто, прогуливаясь по склону горы Тюндер, загляделся на них немного дольше обычного. Этих нескольких минут оказалось достаточно, чтобы пробудить в нем любопытство, он отстал от своих спутников и спустился в долину, чтобы поближе рассмотреть мирно отдыхающих мужчину и женщину. Ему хотелось познакомиться, заговорить с ними, ведь, по существу, они уже были ему знакомы: с самой весны он умиленно смотрел, как они мирно отдыхают друг подле друга. Когда он спустился в долину, домик вдруг скрылся за кустами, и пришлось долго искать, пока наконец он нашел ограду, заросшую жасмином. Супруги сидели у стены, он громко поздоровался с ними, но они, видно, не слышали, тогда он отыскал калитку. Она отворилась со скрипом, скрип этот далеко разнесся по тихой долине. Гость прошел между клумбами, ему понравились георгины, благоухающие гвоздики, аккуратный, ухоженный огород. Он обошел дом. Солнце уже закатилось, сад был залит голубоватым светом. На куче хвороста все еще сидели мужчина в черных брюках и белой рубаше и женщина в пестром платье. Гость кашлянул, пожелал доброго вечера, но они и бровью не повели. Тогда он подошел ближе, наклонился. И оторопел. И чуть-чуть огорчился. У стены валялись две куклы, две плоские тряпичные куклы с вывернутыми руками. Кто-то выкинул их за дом на кучу хвороста вместе с прочим ненужным хламом.

Незванный гость выскользнул из сада. Поднявшись в гору, он еще раз взглянул на них. Странно, издали они вповь показались ему живыми.

Inter arma¹

Вот она какова, армейская жизнь, наша служба: вскакиваешь среди ночи, торопливо натягиваешь сапоги, непослушными со сна пальцами застегиваешь шинель, металлические пуговицы не хотят подчиняться, одна вообще висит, телько б не отлетела, не хватает еще, чтобы ты стоял перед ротой в расхристанном виде — это наш Старик так говорит, не только рядовым, но и своим офицерам, если заметит небрежность в одежде, он у нас испытанный, старый солдат, сам подтянут и к другим строг, по утрам первым появляется в гарнизоне, а уходит последним, когда ты, покончив с дневными обязанностями, уже бежишь по тропе вдоль ограды домой, к Рите — Рита, Рита, все мысли только о Рите, бежишь, заглушая укоры совести, дела ведь еще бы нашлись, что-то проверить, заполнить журнал, понаблюдать, как солдаты проводят свободное время, да где там, для тебя и теперь, на четвертом году женитьбы, Рита самое главное, волосы Риты, руки Риты — на двуспальной кровати, справа, волосы Риты рассыпались по подушке, закрывают лицо, укрывают ее от тебя, водопад черных густых волос, словно непреодолимая преграда, ты не можешь, *не смеешь* протянуть руку, убрать с ее лица эти волосы, твои пальцы на миг замирают на пуговице шинели, в пальцах дрожь, черный водопад — он уже преграда, тебе сквозь него *уже не пробиться*, ладони твоей не коснуться шелковистой кожи, тебе не увидеть большие мягкие ее, словно припухшие губы, на которых соп, подлинный или притворный, оседает чуть заметной испариной, пахнущей телом Риты, ее объятиями, от одной только мысли о которых ты испытываешь резкую боль, будто от удара ножом в желудок, нет, невозмож-

¹ Здесь: под ружьем (лат.).

но поверить, что на веранде ждет посыльный, плащ-палатка шуршит у него на плечах, подковки на сапогах негромко стучат по каменным плиткам пола (должно быть, он ходит взад и вперед меж горшков с растениями, питомцами Риты: аспарагусом, циперусом, плющом, лимоном, кактусом под названием «обезьяний хвост»), невозможно поверить, сейчас три часа пополудни, за окном непроглядная темь, и дождь шлестит, холодный, ноябрьский дождь, под которым гниют опавшие листья и на дорогах стоит безнадежная слякоть, невозможно поверить, что волосы Риты принадлежат теперь *только Рите*, как и руки ее, кожа, ноги, лоно, стан, нежная, сильная линия бедер, белизна груди, не тронутой солнцем, это все теперь *только ее*, она все у тебя отняла, замкнула себя в себе, не шевельнется, лежит неподвижно, а тебя ждет посыльный, ребята в казарме уже несутся по коридорам, к стойкам с оружием, эй, поправь-ка мне хлястик на шинели, люди, фляжку мою не видели, где моя фляжка, плац у казармы, на плацу строятся взводы — равняйся! — шаги посыльного на веранде, надо поторопиться, Старик шутить не любит, где младший лейтенант Алекса? Десять минут, как послали за ним, отвечает дневальный, надо спешить, тревога, тревога, черт бы ее побрал, слякотная, зыбкая ночь, а тут еще эта чертова пуговица, упрячем ее под ремень, хорошо еще, что как раз на поясе, не хватает явиться без пуговицы, Рите бы следовало пришить ее, кобура, холодная кожа, ременная петелька, надо только вытащить петельку из металлического гнезда, массивная, шершавая рукоятка пистолета, предохранитель, семь патронов, где седьмой, в стволе, в стволе нету, вытащат магазин, ствол посмотрят на свет, понюхают, впрочем, это уже ни к чему, и так видно, из этого пистолета стреляли, посыльный дрожит от испуга, так точно, выстрел слышал, но не посмел войти в комнату, там жена товарища младшего лейтенанта спала, я думал, просто так, в воздух, выкладывайте, Алекса, что это вам ударило в голову, что с вами, что с вами — нет, нет, пусть это трусость, но на такое ты не способен, так поступали мужчины когда-то, в прошлом веке, да и в этом, в начале, а сейчас разве что только в Сицилии, ну еще, пожалуй, в Париже, на окраинных улицах, но не здесь, не у нас, и не офицер народной армии, ну да, но

мужчина-то остается мужчиной, а женщина женщиной, и никакой разницы, здесь или там, если ты не можешь уже коснуться волос Риты, этой крутой линии бедер — ты же сам так говорил ей когда-то, еще в самом начале, Рита радовалась, как красиво, удивлялась она тогда, такой вот я вижу себя, какой ты меня описал, даром что солдат, я и не подозревала, что солдат может быть таким нежным — словом, это ты научил ее видеть себя, открыл ей ее женскую суть, ты-то верил, что для себя делаешь это, гарнизон даст нам квартиру, купим мебель, станешь солдатской женой, я буду спешить к тебе каждый день, запыленный, грязный, замерзший, буду спешить, а ты будешь ждать меня дома, там вокруг красота, горы, ты научишься ходить на лыжах, это все ты хотел для себя, потому и говорил ей про это, тебе нравились ее руки, ее запах, дневной аромат волос ее, шеи и аромат ночных объятий, ты об этом тоже сказал ей, нет другой такой женщины, как ты, Рита, это ты разбудил в ней женщину, надо бы сейчас растолкать ее, не спи, видишь — я уйду, еще совсем темно, на дворе моросит, целых два дня меня не будет, тридцать шесть километров, Старик так и сказал, нет, невозможно именно сегодня уйти, бросить ее здесь на произвол судьбы, но, может, она этому-то и рада, потому притворяется спящей, или, еще хуже, в самом деле способна спать, после того как тебе в руки попало то письмо и ты все узнал, что за пакостный тип, господи, что за гнусные, омерзительные слова, мерзость, вороненый ствол пистолета, все бы закончилось в один миг, лишь нажать курок, она вскинется, широко откроет глаза, может, вскрикнет или издаст краткий стон, все это известно по кинокартинам, чаще всего и крови-то нет почти, раньше так поступали мужчины с неверными женами, даже суд на такое смотрел снисходительно, убийство из ревности, что-то вроде самообороны или казни предателя, ну хотя бы еще не оправдывалась, сказала бы, мол, да, это подло с моей стороны, а она лишь молчала или начисто отрицала все, это, видите ли, недоразумение, да еще твоя больная фантазия, подумаешь, что тут такого, старый знакомый, с которым приятно поболтать иногда, бедный парень, она просто нужна ему — конечно, всем кто-нибудь нужен, но ведь узы супружества, обет верности, справедливость, чего ты только не говорил ей, часа два или три

всего минуло с тех пор, как вы оба выдохлись и бросили без толку мучить друг друга, еще стоит в воздухе кислый запах выкуренных сигарет, в легких у тебя черт знает что, а впереди тридцать шесть километров, черт бы их побрал, и надо идти, командовать, выполнять боевые задания, и где только Рита откопала такую сволочь, неужели он ей нравится, неужели она влюблена в него, а может, просто дурь, обычные женские бредни — мол, жизнь твоя проходит, а они (понимай: мужики) развлекаются вовсю, у них в каждом городе, в каждой деревушке по бабе, словом, истерика, вот и Рита его подцепила, а может, ей и вправду уже нужен другой, что-то не так, не сошлось, нет, ничего невозможно понять, невозможно постичь, сапоги вестового стучат на веранде, три часа четыре минуты, Старик уже смотрит на свой хронометр, где младший лейтенант Алекса? черный водопад на подушке не шелохнется, какое спокойствие, ненавижу, эта издевательская неподвижность, кобура с пистолетом оттягивает пояс, точно на расстоянии ладони от пряжки ремня, это ты твердо усвоил еще в офицерском училище, мы не ковбои, чтобы кольт колетился о задницу, где перчатки? три часа пять минут, плащ-палатка в прихожей на вешалке, Рита не шевельнется, с утренним автобусом, конечно, покатит в город, в то паршивое эспрессо, «Три кошки», паршивый бордель, под столиком их колени вплотную друг к другу, ту сволочь тоже бы надо к ногтю, когда-то с такими разговор был коротким, убивали, как тараканов, никакой пощады, наверняка Рита летом подцепила его, когда ты был в лагерях, женщине скучно, мало ли что скучно, а что будет, если война и тебе уезжать на фронт, ведь про это тоже сколько угодно мерзких историй, нет, ты не станешь будить Риту, сообщать, что уходишь, нельзя унижаться, лишь бы вырвать у нее «до свидания» или обет больше не видеться с тем (вчера-то ведь так и не удалось), три часа шесть минут, минуты врезаются, бороздят, словно плуг, кажется, потолок вот-вот рухнет на голову, хочется выть. круг света от лампы напоминает про разговор вчера вечером, в пепельнице куча окурков, тебя мутит, это признак беспомощности, линия ноги Риты от колена к бедру — лишь об этом сейчас ты способен думать, отупев от бессилия, это самое худшее, о чем можно думать сейчас, в желудке

спазмы, только б не вырвало, в глотке мерзко, нет, лампу гасить не надо, пусть горит,

пошли, товарищ младший лейтенант? — в полосе света от фонарика поблескивают капли дождя, посыльный шагает чуть сзади, так оно и лучше, сейчас у тебя никакого желания разговаривать, струйки дождя затекают под воротник плащ-палатки, под шинель, десять шагов — и сапоги все в грязи, тебе это даже сейчас неприятно, даже сегодня, от запачканной обуви появляется ощущение, будто ты в грязи с головы до ног, раздражение и досада словно ползут вверх от щиколоток, черт побрал бы этот фонарик, сзади шлепает по лужам посыльный, тебе кажется, он насквозь тебя видит и все знает про Риту, хуже нет сочувствия со стороны другого мужчины, презрительного сочувствия, тут, конечно, любой первым делом испытывает презрение, эх, недотепа, мол, не сумел жену уберечь, ты на всякий случай рывкаешь на посыльного, что вы там плегаетесь, идите рядом, бедняга не понимает, в чем дело, но ускоряет послушно шаг, тебе становится стыдно, откуда знать ему про твои несчастья, в самом деле воображаешь бог знает что, с этих пор, значит, так и пойдет, подозрения, грубость, на душе противно от грязи — от грязи ли? ты бормочешь проклятья сквозь зубы, солдат, видно, думает, будто ты из-за ночной тревоги зол на весь мир, в этом он вполне понимает тебя, зеленый парнишка лет девятнадцати, и кому это нужно, верно ведь, товарищ младший лейтенант, пробует он завести разговор, но тут он просчитался, ты сурово выговариваешь ему, что приказы не обсуждаются, отношения между вами вконец испорчены, но как раз в тот момент, когда подарилось неприязненное молчание, в тебе вдруг проснулась жажда услышать доброе слово, и что вдруг тебе пришло в голову — ты светишь в лицо солдатику, он жмурится от неожиданности и отводит взгляд, вы, я вижу, тоже не бриты, говоришь ты самым дружелюбным тоном, на какой способен в эту минуту, но того уже не обманешь, он оправдывается, ночь, не успел, извините, да понятно, понятно, говоришь ты, я воп тоже не брился, попадет нам за щетину обоим, и с неловким смехом направляешь свет на себя, парень, однако, помалкивает, не желая попасть впросак, боится ловушки, дернуло же тебя нести такой бред, теперь не

видать тебе ни уважения, ни приязни, хотя тебе это так нужно сейчас, лучше буду молчать, решаешь ты, чувствуя, что еще одна фраза, одно ненужное движение, и уверенность окончательно улетучится, ты станешь смешным, хотя боишься этого больше всего, надо взять себя в руки, собраться, туго затянутый пояс, фуражка, шинель — и еще плащ-палатка — это твоя камера-одиночка, ты обязан замкнуть себя в ней, а Рита, наверно, проснулась, рядом горит лампа, она устраивается поудобней, до утра далеко, можно выспаться без помех, сорочка сползла у нее с плеч, ты часто ей говорил, у тебя и плечи красивые, и *та сволочь* туда же — у тебя плечи красивые, ах, черт! — что это за крик, это ты, выходит, вскрикнул, солдат вскинул голову, нет-нет, ничего, говоришь ты, чувствуя, что краснеешь, поскользнулся немного, а сам испуганно вслушиваешься в тишину, пытаюсь понять, не говорил ли ты вслух, как будто слова (если ты в самом деле вслух разговаривал с Ритой) все еще парят где-то рядом, в предутренней тьме, первым делом проверю снаряжение, твердо говоришь ты себе и сжимаешь зубы, может, так удастся и мысли свои обуздать, вот ограда казармы, фонари, прожектора, рокот моторов, часовой у ворот отдает честь, ладно, ладно, я младший лейтенант Алекса, часовой здоровается, грязь, грязь кругом, сапоги все в грязи, грязь по колено, грязь по горло, Рита даже не думала умолять о прощении, что за идиотское упорство, откуда оно берется, видно, у женщин это главное оружие самозащиты, о, эти женщины, когда они между собой, эти их смешки и ухмылки, эти секретные разговоры про мужей, для чего все это, ведь они унижают и сами себя, и нас, разве нельзя как-то иначе, без предательства, без унижений, не надо бы им разрешать быть вместе, наверняка какая-нибудь подружка научила этому Риту, какая-нибудь ненасытная стерва, ну, ну, возьми себя в руки, навстречу идет ефрейтор Раби с двумя солдатами, они ходили за боеприпасами, плащ-палатки их развеваются в свете прожекторов, взводы уже строятся, посыльный просит разрешения вернуться в казарму, да-да, ступайте, ты на минуту остаешься один, стоишь на плацу позади трехтонного «чепеля», мотор грузовика уже работает, дребезжит капот, пыхтит выхлопная труба, едкий запах бензина бьет в поздри, ничего, пускай бьет,

на плацу раздаются команды, ну вот, младший лейтенант Алекса, ты в своем гарнизоне, ты в броне из фуражки, шинели, сапог, теперь твердо, еще тверже шагай по земле, блестящей от сырости, Рита, никакой Риты, вдохнуть глубоко, вот так, вот так, выдохнуть, судорога в желудке отпускает, вперед, ровней шаг (левой, правой) — надо бы проследить за своей походкой, но тогда сразу собьешься с темпа, мы умеем ходить, лишь не думая о том, как идем,

из подвала выходят ребята, получили патроны, подтяни-ка ремень, здесь, сзади, черт возьми, осторожнее с пулеметом, Винце здесь? Винце, встать, встать, под дождем плывет запах отсыревших шинелей, ремней, вонь ружейного масла, портянки у всех в порядке, ребята? чтоб никто мне не хныкал на марше, прямей, Капуш, не качаться, выспитесь после демобилизации, чья это фляжка валяется. поднимите, солдат, а то, если я подыму — слова вырываются у тебя, ты слышишь собственный голос, он октавой выше, чем нужно, это плохо, счастье еще, что вокруг такой шум, сорочка спустилась с плеча, ты скрипишь зубами, а, ладно, дождь идет, дождь, не растаете, Майер, солдат не должен бояться дождя, ну-ка, подтянуться,

шум стихает, тихо, секунда, две секунды, тихий шелест дождя на касках, на плащ-палатках, три секунды, как тихо, шеренги застыли, никто не шевелится с момента, как прозвучала команда, резкий голос Старика, твердый, уверенный, **Смирна!** протяжное **сми** как гул урагана, потом многократное **rrr**, тугое, весомое **и** и **а**, будто отпущенная тетива, все движение замерло, четыре секунды, шеренги, правильные и на флангах, и во фронте, и даже по диагонали, ряд, ряды, боевой строй, впереди офицеры, у Старика по стеклам очков стекают капли дождя, блестят мокрые каски в лучах света, даже плащ-палатка у Старика на плечах выглядит так, словно на заказ шита у лучшего портного, подогнана по размеру, он, застыв, стоит в своей безупречной форме, вслушивается в тишину, вот это тебе нравится в нем больше всего, непоколебимое уважение к форме, к законам военной профессии, ты и сам вытягиваешься в струнку, ищешь глазами его взгляд, тебе бы на миг за него уцепиться, Старик на полголовы ниже тебя, шрам на левой щеке, след пули, лишь

сейчас, в ярком свете прожекторов, отбрасывающих глубокие черные тени, ты по-настоящему разглядел этот шрам, на нем борода не растет, пуля, видно, и кость задела, а что, если б эта немецкая пуля там, в горах Словакии, летела на несколько сантиметров выше? — вот о чем ты думаешь в эти секунды, да и, кроме того случая, сколько раз он, должно быть, смотрел в лицо смерти, ты стоишь перед своей ротой, стараясь поймать его взгляд, взгляд человека, которого коснулся уже черный ветер не поддающейся разуму глубины, но который умеет сейчас стоять так недвижно и терпеливо перед своим гарнизоном, с сознанием ответственности за доверенных ему людей, за все, наслаждаясь тишиной, воцарившейся после команды «смирно», наслаждаясь дисциплиной, плодом его воли, ты смотришь не отрываясь на седого этого офицера, твоего командира, почти подвижника или монаха в привычках, и в торжественном молчании этих секунд силяшься угадать, откуда он черпает силу, неутомимость и вдохновенную волю — ведь ты тоже *мечтаешь* стать таким офицером, мечтал со времен действительной службы, с офицерского училища, и, когда, в первый день прибытия в гарнизон, ты увидел его, в том, как он пожал тебе руку, как пригласил сесть, в каждом его движении, голосе, строгом взгляде, сдержанной и все же располагающей к себе улыбке, в манере держать себя ты узнал тот образ, что до тех пор нечетко, туманно жил в тебе как твой собственный будущий облик, и, хотя подражать другим ты всегда избегал, теперь ты порой замечаешь, что с солдатами говоришь его голосом, все дни живешь с его строгим к себе отношением, монотонный армейский труд выносишь с подсмотренным у него упорством, но Рита, Рита, она вечно старалась хоть чуть-чуть расшатать каркас, который ты столь заботливо возводил, чтоб на нем *изваять* свою жизнь, свой характер, она подбиралась то с одной, то с другой стороны, а ты позволял ей играть с собой, как ребенку, отдавал ей игрушкой себя и свое будущее, почему-то уверенный, что сломать она все равно ничего не сломает, ты старался не обращать внимания на ее капризы, ты не мог решить, что важнее, служить сладкой ее тирании или строить тот образ, что был *единственной твоей целью* в жизни с тех пор, как ты в первый раз надел форму, и, пока ты

малодушно уклонялся от ответа на этот вопрос, Рита от-
лично разобралась, что важнее всего для нее, она не
имеет и никогда не имела понятия, как сильно ты ри-
сковал, когда доверился ей, когда она заставляла тебя
выполнять ее прихоти, но ты не подозревал об этом,
откуда? — не понимаем мы женщин, старина, женщи-
ны — это совсем не похожие на нас существа, особенно
если у них нет настоящего дела, которое удовлетво-
ряло бы их как людей, и это самое скверное, самое
опасное состояние, ты теперь и сам понимаешь, Рита
не способна быть помощницей в твоей жизни военного,
она не поддержит тебя, а потянет вниз, она не понима-
ет по-настоящему, что это такое — мужское призвание,
ей в тебе нужен только мужчина, а все остальное для
нее пустой звук, мужчин же много, мужчин тысячи,
тех мужчин, которые нужны Рите или любой другой
женщине, тут ничего не попишешь, Рита не увидела
того, что в тебе основное, в этом ты, должно быть, и
сам виноват, надо было как-нибудь определеннее объ-
яснить ей, в чем тот путь, который ты выбрал и кото-
рый должен пройти, пока станешь таким, как Старик,
ты, может быть, стеснялся или не умел объяснить ей
это, а может, и объяснять-то не стоило, женщина это
должна чувствовать, только с той можно жизнь про-
жить, которая без объяснений почувствует и поймет,
в чем ее долг, долг, может, и беспокойный, и утоми-
тельный, и не столь уж почетный, но без него, без
чего-то такого человек не почувствует себя человеком,
в конце концов, ведь и женщина человек, черт возьми,
и твоя служба, конечно, не сахар, но чего бы ты сто-
ил, без такой вот *службы*, служения, чего бы стоил
Старик, вся его жизнь, если б он где-то когда-то отсту-
пил, испугался, позволил себе ослабеть, оробеть, шесть
секунд — это пик тишины, ее взламывает рев моторов,
«чепели» снова заведены, двинулись противотанковые
75-миллиметровые орудия, они катятся, брызгая
грязью, Рита, Рита, Рита, что же делать, эта секун-
да — последняя, как отсюда сбежать, нельзя же оста-
вить ее на произвол судьбы, снова судорога в желуд-
ке, может, упасть в обморок, или еще что, но тогда по-
падешь к полковому врачу, ерунда, не думай об этом,
тогда уж наверняка не оберешься позора, один за дру-
гим режут «чепели», взбираясь к шоссе, на откос, семь
секунд, сейчас прозвучит команда выступать, Рита,

что же делать, побежать домой, схватить ее за плечи и трясти, трясти, Рита, что же будет с нами, ты видишь, мне уходить, а в тебе все застыло, черт бы побрал это твое упрямство, грузовики воют, орудия крепятся набок на повороте, ты стоишь в свете прожекторов, земля горит у тебя под ногами, как жарко, хоть бы двинулись уже, что ли, идти маршем по грязной дороге, потом через лес, отметка 456, направление северо-восток, неприятель окопался у населенного пункта Ж., а Рита нервно смеется, отталкивает твою руку, как ты не понимаешь, ну как ты не понимаешь, повторяет она, я ни в чем перед тобой не виновна, это самое страшное, самое непостижимое, эту женщину невозможно понять, она, если надо, отчаянно защищается, шипит, словно загнанный в угол дикий зверек, она выдумала себе что-то, якобы это ее право, и защищает свою выдумку всеми силами, протестует, кривит душой, лжет — и даже не прикрывает своего тела, надо было бы запереть ее на замок, смешно, просто смешно, паршивая, идиотская ситуация, интересно, что бы сделал Старик на моем месте, *у него-то как оно было*, он никогда ни единым словом не обмолвится про свою жену, вообще не любит разговоры про женщин, офицеры в клубе в его присутствии как-то стали рассказывать разные случаи, он тогда поднял сухую, строгую свою руку, смею надеяться, вы не станете обсуждать во всеуслышание, как работают ваши желудки, вы же еще не маразматик, сказал он, сказал вежливо, без оскорбительной интонации, выводы, мол, позвольте сделать сами, вот что ты вспоминаешь сейчас, на восьмой секунде, когда последний «чепель» выезжает в ворота и Старик подает команду, ты цепляешься за его голос, раз уж взгляд его так и не удалось поймать, а как он нужен тебе сейчас, его взгляд, ты ловишь голос, что летит над шеренгами, летит над тобой, он проникает тебя до подошв, словно молния, пойманная громоотводом, разряд наполняет тебя, сжигая и очищая, ты выбрасываешь вперед левую ногу и трогаешь с места роту, за мной шаго-о-ом! арш! ритмично позванивает оружие, лужа в ямке, крайняя правая шеренга вся ступает точно в нее, это только начало, половина четвертого, сырой холод, темень, отметка 456, на оружии мокрые блики прожекторов, ворота распахнуты настееж, левой, правой, левой, правой, левой,

правой, ты бросаешь руку к фуражке, два километра по шоссе, затем поворот направо, *та самая* тропа среди мокрой осенней листвы, кустарник, торчащие ветки, сапоги то и дело оскальзываются, но ребята еще не устали, ломятся через лес, как медведи, не отставать, отделением держаться вместе, тебя догоняет Капуш, ты наклоняешь голову, проходя под сухой веткой, на затылке дыхание Капуша, запах мокрой шинели, запах опавшей листвы, камень, кто-то споткнулся, за ним еще кто-то, под ноги смотреть — спасибо этому камню, вот этот твердый голос — он уже *твой*, привычный солдатам, командирский безличный голос, рабочий голос, в нем нет ни Риты, ни растерявшегося младшего лейтенанта Алексы, правда, голос этот еще не такой, как у Старика, у того приказы совсем не нейтральны, они выражают его личность, ты и этому должен еще учиться, чтобы твоя работа была не просто исполнением долга, но *делом жизни*, ты опять представляешь себе Старика, которого в темноте не видно, представляешь его планшет, хронометр со светящимся циферблатом, руки с сухой кожей, широкий, спокойный шаг — и сам расправляешь плечи, заглядываешь в лица солдат, это пока только роль, но сейчас эта роль необходима тебе, постель Риты, ее обнаженные плечи, водопад волос постепенно отступают туда, за деревья, рассеиваются, тают, ты ощущаешь в погах ритм марша, напряжение икр на подъеме, ты чувствуешь свое тело, мышцы, впереди и позади тебя молчаливые шеренги солдат, молчаливо взбирающихся по склону с полной выкладкой, ты слышишь затрудненное их дыхание, ты чувствуешь роту, словно единое тело, часть которого — ты сам, рота движется по намеченному маршруту к намеченной цели, скоро утро, ноябрьское утро, лес скрывает солдат, капли сыплются с поредевших крон, ты ведь любишь лес, в детстве помнишь заповедник под Х., на поляне с пятью дубами — деревянная избушка, убежище для лесника и для лесорубов, с земляным полом, внутри слегка пахнет мочой, и все же в избушке уютно, на двери массивный засов, на краю поляны дорога, дядя Янош с телегой, сало на прутике над костром, рыжая лисица в петле среди зарослей папоротника, штабеля бревен на вырубках, бук, вяз, дуб, дикая груша, граб, следы лани, охотничья засада, лесорубы плюют на ладони,

трехминутный привал, можно перекурить, от сигареты горечь на языке, дым дерет грудь, ты закашлялся, ну еще бы, сколько выкурил с вечера, солдаты собираются в кучки, в темноте тлеют рои угольков, дождь стал вроде потише, может, перестанет совсем, даже, может, солнце выглянет днем, отметка 456, вышка будет уже видна на фоне серого неба, солнце взойдет в 6.48, до этого еще больше двух часов, к тому времени рота будет уже возле Ж., первый штурм, артподготовка, атака под прикрытием танков, затем, прочесав деревню, преследовать неприятеля, ориентир — усадьба хутора Т., Старик стоит на пригорке, освещает фонариком каргу, свет скользит по блестящему целлулоиду, зеленые, коричневые пятна, черные, красные линии, есть вопросы? господа, он словно и не чувствует дождя, есть вопросы? как бы вы поступили, товарищ майор, вот что хочется тебе у него спросить, вы бы что сделали, если бы ваша жена, вы ведь знаете Риту, вы бы что сделали, светящийся циферблат на хронометре, Старик словно и не чувствует дождя, он стоит на пригорке, солдаты вокруг приглушают голоса, ну, тогда вперед, говорит он офицерам, вы бы как поступили, молча спрашиваешь ты, когда Старик поднимает глаза, он ловит твой потерянный взгляд, случилось что-нибудь, Алекса? — вот так когда-то учитель истории обнял тебя за плечи в коридоре школы после смерти отца, в солнечное июньское утро, у высоких, до потолка, окон, но тогда ты был совсем юным, тебе так нужна была поддержка этой сильной, пахнущей табаком руки, напоминающей руку отца, тогда ты мог еще не стесняться своего страха, растерянности, ты еще боялся того, что ждет тебя в жизни, и мог быть благодарен учителю, ощутив на плечах его руку, и бесчеловечное равнодушие январского сверкающего снега тебе не казалось уже воплощением безнадежного одиночества, но теперь ты взрослый мужчина, офицер, на тебе ответственность за себя, за своих солдат, за свое призвание, и теперь ты не можешь так же легко принимать постороннюю помощь, если хочешь добиться в жизни чего-то, если хочешь стать таким, как Старик, случилось что-нибудь, Алекса? как хотелось бы все рассказать, освободиться немного от напряжения, но, кто знает, может, именно оно-то и пужно тебе, это мучительное напряжение, может, и Старика

нужно было в свое время что-то подобное, чтобы стать таким вот решительным, твердым, чтоб излучать силу, огромные светлые окна в коридоре школы, рука историка, пахнувшая табаком, подростку нужна была эта рука, чтоб направить его на тропу, которой идут сильные люди, но теперь ты уже не имеешь права ждать помощи от кого бы то ни было, и никогда больше не будешь иметь этого права, до конца своей жизни, прошло время, когда ты мог ее ждать, случилось что-нибудь, Алекса? нет, ничего, товарищ майор, я обдумываю задание, это ложь, конечно, но и правда тоже, а значит, удачная ложь, разум твой все острее с приближением рассвета, Старик изучающе смотрит тебе в лицо, может, он видит тебя насквозь, неужели он и на это способен? — наверняка способен, ты спешишь повернуться кругом, энергично и четко, чтобы он не заметил смущения, торопливости, не заметил, что ты просто спешишь сбежать, ты уже рад, сделав два-три шага, раствориться в предутренней темноте, хоть язык удержал за зубами, думаешь ты, уже кое-что, ты боялся совсем не того, что мучительная твоя, такая унижительная для мужчины тайна откроется всем, Старик не таков, как другие, в его взгляде бы не мелькнуло насмешки, ты просто рад, что выдержал испытание, хоть это оказалось и нелегко, ты и перед солдатами теперь ощущаешь себя увереннее и, чувствуя некоторое уважение к себе, даешь команду выступать, Сабо, возьмите у Нидермана пулемет да глядите под ноги, черт побери, а то нос расквасите, корни всюду торчат — впрочем, это звучит скорей дружески, как-никак мы мужчины, лес полон мужчин, они тащат оружие, пробираются через заросли, спускаются по склону с горы, это тоже не фунт изюма — в полной выкладке, напрягая мышцы плеч и спины, оскальзываясь на мокрой листве, идти вниз, балансируя и отгибаясь назад, это куда трудней, чем взбираться вверх, глубина манит к себе, подталкивает инерция, десять минут — и уже дрожат ноги, напрягаются икры, все мышцы на пределе, а ведь это только начало, возле Ж. предстоит атака, к полудню надо быть у хутора Т., а вечером в горном селении Г., там отдых, три с половиной часа, в девять утра — новое наступление. Нидерман судорожно вцепился в пулемет, он портье, говорит по-немецки и по-французски, манеры у него безупречные, портье он,

наверно, отличный, Сабо учится на композитора, Капуш — трамвайный кондуктор, но сейчас все это не имеет значения, все они, как один, солдаты и спускаются вниз по склону, дождь утих, слава богу, задул предрассветный ветер, подхватил терпкий запах умирающих крон и гниющей листвы, аромат лесной земли, может, ветер разгонит тучи, тогда высохнут шинели, сапоги, мы здесь все мужчины, думаешь ты, мы должны идти через мокрый лес, хрустят сучья, ветки хлещут в лицо, слышна беззлобная ругань, подтянуться, подтянуться, не отставать, кто там бренчит оружием, вы не в цирке —

первые домики, маленькая деревня на опушке леса, в одном окошке горит свет, чья-то тень на занавеске, забор с почтовым ящиком, на натянутой проволоке звякает цепь, эй, оставьте собаку в покое, подтянуться, подтянуться, две вереницы солдат вдоль проселка, по левой обочине и по правой, сапоги шуршат по траве, пока пройдено всего шесть километров, направление северо-северо-восток, впереди еще тридцать, вереницы теней в брезжащем сером рассвете, на небосводе у горизонта прорезается щель, из нее рвется красный свет, тучи там уже разошлись, проселок упирается в шоссе, дорожный знак, первые просыпающиеся птицы, светает, по обочинам бесконечные цепи солдат, шаг держать не надо, цепи выгибаются, обходя кучки щебня, цепи тянутся, тянутся, тянутся, камушки хрустят под ногами, это твои шаги, их ты должен будешь помнить всегда, помнить пройденные километры, марш-броски, боевые задания, *успешно выполненные задания*, как всегда будет помнить Нидерман свою стойку в отеле, Сабо — сочиненную музыку, Капуш — трамваи, ребята уйдут, кончат службу, но каждый из них будет где-то делать то же, что делаешь ты, это у всех тут общее, выполнять задачи, делать свое дело хорошо, точно, красиво, и это единственное, о чем ты обязан думать в первую очередь, чтобы после было о чем вспомнить, без Риты ли, с Ритой, суть одна —

глубокое низкое буханье — это орудийные залпы, артиллерия бьет по позициям условного противника, светает, пелена туч сдвинута к западу, на востоке чистое небо, уже видны лица солдат, со стороны Ж. мчится командирский вездеход, старшина Тапцош бежит с докладом к майору, Старик говорит что-то

старшему лейтенанту Бенедеку и садится в машину, залпы, началось, вдоль дороги стоит кукуруза, закрывая деревню, на высоких стеблях, на месте собранных початков пучки разлохмаченных волокон, земля черна от дождя, на верхушках деревьев бледные пока лучи солнца, колокольня, белые стены домов, заборы, сельская лавка, пожилая крестьянка у калитки смотрит на череду солдат, смотрит на тебя, куда, сынки, туда, вперед, машешь ты, ее взгляд провожает тебя, вездеход стоит на площади перед церковью. Старик на подножке, здесь встречаются роты, во дворе школы походные кухни, сначала первый взвод, его ведет ефрейтор Раби, солдаты протягивают котелки, проголодались после такой дороги, всходит солнце, час дается на отдых, старший лейтенант Бенедек угощает тебя сигаретой, ты берешь, дым приятен уже, ты прислоняешься к стене школы, желтый свет, желтые кроны деревьев на площади, деревянный мост, руки, ноги ноют слегка, в бедре временами боль, плохо ты готовился к этому маршу, что говорить, ну пичего, выдержишь, не помрешь, заходите с женой как-нибудь к нам — Бенедек обращается к тебе, ты испуганно вскидываешь глаза, нет, нет, он ничего не знает, тон не тот, давно у нас не были, Ката любит играть в карты, да вдвоем, сам понимаешь — ну еще бы, говоришь ты и думаешь, поскорей бы сигнал к выступлению, что ты скажешь *им всем*, как объяснишь, может, сделать вид, что Рита поехала навестить мать, все равно рано или поздно спросят, почему ее нет, до чего прав Старик, что прячет свою личную жизнь в четырех стенах, вот и этому нужно у него поучиться, Бенедек ждет ответа, до чего неприятно делать вид, будто пропустил вопрос мимо ушей, прости, говоришь ты, надо сбегать в одно место, и улыбаешься даже, мол, о чем речь, все как надо, оставляешь его одного и неприкаянно слоняешься по двору, тебе кажется, все вокруг следят за тобой, как ты валяешь дурака, для убедительности ты даже заходишь в уборную, топчешься там в густой вони, пока не слышишь, как солдаты начинают собираться, все готовы? марш — этот голос возвращает тебе уверенность, а ну-ка, не тянуть время, строиться на ходу,

запевай, левой, правой, левой, правой, раз-два-три-четыре, неуверенные голоса наконец сливаются в обретенной мелодии, жители деревни высыпали к калит-

кам, ты идешь впереди своей роты, левой, правой, левой, правой, ритм, ритм приводит тебя в чувство, редуют дома по сторонам улицы, дальше одни тополя, кладбище, еще домик, пашни, отставить песню, и потом — только звук шагов, четверть часа, полчаса, по деревне с песней, меж деревьями только шаг, раз-два-три-четыре, еще час ходьбы, потом напрямик по пересеченной местности, с дороги свернуть налево, через луг к подножию горы, на лугу вода хлюпает под сапогами, колодец с журавлем, с полусгнившей колодой, деревья, лес, осенний, пронизанный солнцем, желтый лес, голые, черные ветки, двенадцать часов, ребята расстегивают верхние пуговицы шинелей, пот течет из-под касок, у кого вода есть, попить дайте, у меня кончилась, ты сердисься, говорил же, чтоб с водой экономней, по условию все колодцы отравлены, дисциплина, дисциплина, сколько раз повторять, солдаты отстают, еле волочат ноги, бурчат, Шебештен, возьмите ящик с боеприпасами, да не отставайте, ты спешишь вперед, начинается новый подъем, снова боль в бедре, что за черт, солнце достигло зенита, Рита, конечно, уже в городе, зашла в этот, как его, о дьявол, хуже нет, чем потеть под холодным ноябрьским солнцем, рубаха прилипла к спине, ты спешишь вперед, давай, давай, ребята, а ребята словно не слышат, еще бы, у тебя снаряжение раза в четыре легче, чем у них, да и ты уже еле ноги волочишь, во рту горечь, пересохшим губам больно, ну, ничего, нажми, ребята, куда, к черту, провалился этот паршивый хутор, ты останавливаешься под деревом, смогришь на карту, прислонясь спиной к шершавой коре, ждешь, пока бредущий мимо солдат пройдет дальше, устало расправляешь плечи, Рита сидит в том поганом эспрессо, наверняка добралась уже, встретишься с этой сволочью, Рита смеется, как умеет смеяться только она, пожалуй, чуть-чуть слишком уж громко, они сидят за столиком, злость кипит в тебе, шевелись, вопишь ты солдату, он как раз взобрался сюда, к твоему дереву, солдат вздрагивает, ты с яростью глядишь ему в спину, ладно, пусть сидят, пусть сидят, плевать, ты снова смотришь на карту, ищешь ориентиры, ручей уже миновали, значит, еще два километра, на улице или на шоссе два километра — пустяк, но в гору, погом с горы, это страшно много, ты опускаешь планшет, вот когда сказались вчерашние

сигареты, усталость, еще два километра, кто-то поравнялся с тобой, это последний, другие карабкаются среди кустов выше по склону, солдат, подойдя к дереву, падает на сырую траву, рядом хлопается зеленый ящик с патронами, рядовой Шебештен, кто разрешил отдыхать, встать, нога, стонет Шебештен, сдергивая сапог, поправьте портянку, сколько раз говорить, чтоб портянки тщательнее наворачивали, Шебештен со стоном стягивает сапог, грязная, пропотевшая портянка падает на землю, на пятке у парня уже лопнула водяная мозоль, рана растерта до живого мяса, ну, возьмите себя в руки, нельзя отставать, говоришь ты решительно, хотя больше всего тебе хочется сесть рядом с ним, еще два километра — и все, черт бы их побрал, эти два километра, сквозь зубы клянет все Шебештен, сдвинув со лба каску, светлые волосы мокрыми прядями прилипли ко лбу, прекратите, Шебештен, и вперед, да поскорее, сидеть только хуже, смотрите, как мы отстали, не пойду, и все, хоть стреляйте, ты уже в ярости, а ты-то вот, думаешь, ты-то идешь, из-за них только и идешь, что, хотите, чтоб я отправил вас к командиру, ты поднимаешь глаза к небу, потому что поднявшаяся из желудка горечь опять жжет глотку, рота, рассыпавшись, карабкается по склону, многие тащатся еле-еле, младшие офицеры торопят солдат, ну, пошли, Шебештен, скоро привал, потерпите немного, ты говоришь это и для себя самого, потом смотришь, как солдат, проклиная все на свете, наворачивает портянку на стертую ногу, натягивает сапог, ты помогаешь ему подняться, идешь рядом с ним, Шебештен хромает, каждый шаг вызывает у него на лице гримасу боли, два километра, два километра в таком состоянии, никто не поверит, что это возможно, но что делать, не нести же его на себе, ты чувствуешь, как судорога сводит икры ног, как разит из-под нижней рубахи горячим потом, надо говорить что-то, чтобы поддержать дух в себе и в солдате, нажмем, Шебештен, от этого не помрете, будьте мужчиной, а сам ощущаешь рану у него на ноге как свою, хуже нет такой пытки, сапог в таких случаях жжет раскаленным железом, к твоей усталости словно бы добавляются страдания Шебештена, заражая тебя иступлением, не помрете от этого, ну-ка, дайте сюда ящик, Шебештен оцепенел, упирается, есть, значит, совесть у парня, это

главное, только духом упал с непривычки, но совесть у него есть, давайте, давайте сюда, чего там —

и тяжел же он, чертов ящик, его и пустым-то не просто нести, металлическая коробка, узкий ремешок режет пальцы, Шебештен немного приободрился, ковыляет рядом, смотреть больно, как он волочит по траве стертую ногу, но что поделаешь, нельзя об этом думать сейчас, надо добраться до хутора. там бедолага отдохнет, пока что от того дерева прошли всего метров сто, крутой подъем, ямы, торчащие корни, приходится обходить коряги, давай, давай, солдат, он уже дышит с хрипом, останавливается, видно, совсем выдохся, хватается за какой-то сук, сук трещит и ломается, Шебештен падает на траву, ну-ну, встать, солдат, не могу, не могу, эх, так вашу, твоя ладонь мокра от пота, ты поднимаешь его, вперед, вперед, мышцы напряжены до предела, подъем все круче, ты совсем пригнулся к земле, возле самых глаз пучки желтой травы, черные сучья, земля, земля, вперед, Шебештен, давайте руку, парень чуть не плачет, видно, что старается искренне, без обмана, ты закрываешь глаза, надо найти силы, говоришь ты про себя солдату и открываешь глаза, еще немного продвинулись, небольшой участок ровной земли, ну, теперь поднажмем, Шебештен силится сдвинуть ногу, вперед, вперед, нога словно чугунная, наконец сделал шаг, свистящий хрип из груди, еще шаг, секунда, три секунды, ты отдаешь команды лишь взглядом, тело уже обессилено, тут только воля поможет, твоя воля, которой должно хватить и на тебя, и на солдата, волочащего больную ногу, инстинкт велит быть спокойным, а мышцы каждый миг отказываются подчиняться, воля приказывает ногам нести тебя дальше, вновь и вновь приводит в движение мускулы, деревья, запах земли, запах пота, борьба за метры, растянуться на влажной траве, сомкнуть веки, ни о чем не тревожиться, но нельзя, невозможно, если ты сейчас сдашься, если вы сдадитесь сейчас с Шебештеном, значит, все, значит, конец, и это уже навсегда, нет, надо добраться до хутора, привести туда своего солдата, Рита пускай едет к матери, Старик наверняка тут же повернулся бы и ушел, а ты умолял о чем-то, допытывался, у тебя одна задача — преодолеть себя, победить, земля тянет властно, неодолимо, собраться, собраться, нажмем, Шебештен, еще нажмем, деревья

редеют, сквозь стебли выгоревшего, пожелтевшего вереска уж видны серые крыши хутора, тебе не хватает воздуха, ящик с боеприпасами с каждым метром все тяжелее, еще шаг, Шебештен, еще шаг, ты обхватываешь его за плечи, и вы, опираясь друг на друга, приближаетесь к поляне — это единственная возможность, воля — единственная возможность преодолеть себя еще целых восемнадцать часов, еще много-много часов подряд, еще шаг, хрипишь ты, еще шаг, Шебештен, рано или поздно, но мы все-таки доберемся.

1967

Зимой

В комнате их было трое. Трое во всем доме. Фридеш Никлаи, Йоланка Сентирмаи и Паркани. В печи горел огонь, было тепло. Паркани сидел в сиреновом кресле, вытянув ноги в домашних туфлях. Одна туфля упала с ноги и валялась кверху подошвой. Люстры в комнате не было, свет падал из-под желтого абажура торшера и снизу, от бедер и выше, освещал Фридеша Никлаи и Йоланку Сентирмаи. Паркани сидел в тени, напротив. Он слегка повернул абажур, чтобы светлее было тем двоим. И все же их головы окружала темнота, иссиня-черная мгла, до самой рамы. Позолота на раме поблекла, но по выступам орнамента — кружевным листьям и переплетениям — еще можно было судить о прежнем великолепии.

— Может, закуску какую приготовить? — спросила Борбашиха, в три часа дня закончив хлопотать на кухне. Она принесла корзину дров, подложила в печь и остановилась у двери. — Как-то нехорошо эдак, господин доктор!

— Ну-ну, как-нибудь управлюсь!

— Будете пить?

— Нет.

— Зачем же шампанское тогда велели принести и коньяк?

— Новый год.

— Вот все и выпьете. В одиночку?

— Ступайте домой, голубушка. У вас, верно, полным-полно дел. Семья же.

— Пить будете, — повторила Борбашиха.

Паркани наполнил рюмку. Он не любил коньяка, но купил все же коньяк. Водку пить не хотелось. Ром тоже. «Ну, ваше здоревье!» — кивнул он Фридешу Никлаи и Йоланке Сентирмаи.

На румянном лице Фридеша Никлаи улыбка едва приметна — губы упрямо сомкнуты, а взгляд почти

злой. Пожалуй, впечатление от улыбки оставляет только тонкая линия ухоженных темно-русых усов над слегка припухлыми губами. Да еще синева и прямота взгляда. Отважный взор, как говорится. Никлаи смотрит куда-то вдаль, словно видит что-то за выбеленной стеной — что-то важное. Посадка головы (подбородок чуть вздернут, чтобы высокий лоб был виднее) свидетельствует о гордости, даже о высокомерии. Высокомерие. Да, высокомерие. Вообще, видел ли хоть кто-нибудь, чтобы Фридеш Никлаи улыбался? *После всего наверняка никто и никогда. А прежде?*

Йоланка Сентирмаи, верно, могла бы на это ответить. В дни, когда она получала те страстные, чарующие письма, в первое время после обручения, при кратких встречах, когда Никлаи склонялся перед Йоланкой в гостиной и, взяв ее маленькую руку, подносил к губам, едва касаясь легким поцелуем, — улыбался ли он ей тогда? Посмотришь на Йоланку, и кажется: иначе и быть не могло. Разумеется, его мужественность, видевшаяся в строгом выражении лица и молчаливости, производила на барышню впечатление, но действовало же, должно быть, и другое — обходительность, вежливость, ласка. Никлаи был красивый мужчина. Вон как ниспадают на затылок слегка вьющиеся густые темно-русые волосы, касаясь кипенно-белого воротничка. Элегантный костюм. Яркий шелковый галстук, украшенный булавкой с бриллиантом. Синий бархатный жилет, черный облегающий пиджак. И кольца. Перстень с красным камнем и массивное золотое кольцо. Да и поза, в которой сидит он (или стоит?), восхитительна. Рука, изысканно согнутая в локте, покоится почти у самой рамы.

Принять такую небрежную позу Паркани не сумел бы. Руки у него то в карманах, то болтаются по бокам или в крайнем случае держат рюмку. Да, да, именно рюмку со спиртным. А если стоит он, то всегда прислонившись к дверному косяку, стене или шкафу — устает.

Паркани сейчас тридцать шесть лет. Мясистое лицо помято, под глазами синие полумесяцы, в волосах проседь. Тело расплывается по креслу. А Никлаи, ему сколько лет? Вот он, пожалуйста! Не дашь и тридцати. Не правда ли? Сорок два! В те времена мужчины женились не торопились.

Или дело не в этом?

Вот сидит Йоланка, красивая барышня из семейства Сентирмаи, вся в белых кружевах, грудь того и гляди выпорхнет из тесного лифа, вырез глубокий, чтобы длиннее казалась шея, ее грациозно, по-лебединому изогнутая шея, вокруг пухлого розового личика корона белокурых волос, чуть капризный рот — но в любой момент готовый без умолку щебетать и смеяться. Глаза, лучась, глядят на мир — в них жизнь, жизнь...

— Ну ладно, — пробормотал Паркани. — Выпьем, что ли, ребята!

Йоланке здесь двадцать лет. Да, вот она в позолоченной раме, стройная, красивая.

Глядя на них двоих, Паркани поднял рюмку с коньяком. При электрическом освещении напиток казался янтарно-коричневым. Паркани захотелось вдруг коньяку, он выпил. Хотя не любил коньяка.

— Дрянной это коньяк, ребята, — сказал он. Потянулся вперед, сбросил со скрещенных ног и другую туфлю, оставшись в носках, сунул ступни под перину, лежавшую на кровати. Впрочем, огонь пылал, было тепло, настоящий зимний вечер. На улице шел снег. И реку затянуло ледком, снег падал мягкий и чистый, заглушая городской шум. И здесь в доме было тихо, только звякало в рюмку горлышко бутылки да слышалось легкое журчание, когда Паркани наливал коньяк.

— В ваше время уже был коньяк, ребята? — спросил Паркани. Ему хотелось разговаривать с ними, не было охоты ни думать, ни смотреть на телефон. Но шнур из розетки он все-таки не выдернул. Отключать телефон было нельзя: ведь могли позвонить по срочному делу, знали, что он дома, сидит, кукуется. Борбашиха наверняка разболтала: мол, *доктор-то наш* один дома пьет.

— Бог даст, оставят меня в покое.

Йоланка Сентирмаи любила жизнь. Впрочем, в те времена вряд ли знали коньяк. В ходу были абрикосовая водка да вино. Или уже и тогда пили коньяк? Надо бы встать да заглянуть в энциклопедию. В каком же это году испанские монахи завезли во Францию коньячный спирт?

По Йоланке видно, что она любила жизнь. Должно быть, и детям радовалась. Двое детей. *Одной из них*

была бабушка. Паркани помнит бабушку, по воскресеньям она пекла булочки к кофе с молоком. «Рано умерла моя бедная мама...» — говаривала она.

— Печальная история, старина, но, надо признать, исполнено лихо, — сказал Паркани Фридешу Никлаи. Приподняв рюмку, отхлебнул. Никлаи смотрел в стену.

— Не забыть бы нам в полночь о шампанском... Шампанское-то вы пили, а? В полночь. Полуночи-то ведь ты дождался, а?

Лицо у Никлаи строгое, замкнутое. «Ну конечно, — размышлял Паркани, — тебе было нелегко, да и потом, старина, нелегко было больше не думать обо всем этом».

Звякнул телефон. Паркани уставился на аппарат. Звонок не повторился. Но, оставаясь начеку, Паркани не шевелился еще долго. В ушах гудела тишина.

«Надеюсь, это не она», — подумал Паркани. Хотя Борбашиха, если увиделась с ней, обязательно доложила, что доктор встречает Новый год в одиночестве. Первый Новый год без Шары. Без Шары и детей. Шара. Сидит сейчас у телефона в кресле, поджав под себя ноги в одних чулках. Клянусь, так и сидит у проклятого аппарата. Но, надеюсь, это не она. Пить будете, сказала Борбашиха.

Ну и что? Он ведь не на работе. Дежурит Липтак. А на Новый год все пьют, не так ли?

— Послушай, — сказал он Никлаи. — Ты-то меня не знаешь. Но я тебя знаю. Вот в чем фокус. Можешь сказать спасибо художнику, который намалевал вас обоих. Тебя и твою благоверную. В то время, когда все у вас шло хорошо.

Он сполз в кресле пониже и, уже почти лежа на спине, глубже закопался ногами в постель. От коньяка стены комнаты приятно колыхались. Шевельнулся и Никлаи, за ним Йоланка.

— Полно вам, — сказал Паркани. Впрочем, он был этим доволен. Все не один. — Ты любил ее, а? — подмигнул он Никлаи.

Ну конечно. Письма. О письмах рассказывала даже бабушка. Возможно, они и существовали? В поэтическом стиле. Так о них вспоминали. Год напролет писал Никлаи, письмо за письмом. Чего хотела Йоланка? Кого ждала? Стояли вокруг нее в столовой (у них непременно была столовая) и по очереди пилили. «Это дело-

вой человек! С прекрасной репутацией! Богатый! Порядочный! Да он на руках тебя будет носить! Так, как он, тебя уж никто любить не будет!»

Так — не будет, это верно!

Из двоих всегда кто-то любит сильнее. Один все отдает, а другой только прикидывает, другой только свой быт меняет.

Йоланка. Нравился ей Никлаи, и любила она его, но не так, чтобы пожертвовать собой. Нет. Кое-что от себя хранила для себя одной. А Никлаи даже не догадывался. Никлаи узнал об этом позднее, на том годовом балу, в городской управе.

Так что неудивительно!

Даже став госпожой Никлаи, Йоланка хотела остаться Йоланкой. Не получалось. Она рожала детей, вела дом, выслушивала мужа, кивала, когда Фридеш рассказывал о хозяйственных делах. Даже воодушевлялась, повторяла мужнины слова. Но при всем при том хотела остаться Йоланкой.

Поначалу Никлаи этого не знал. Узнал только на балу.

Паркани помрачнел. Он сердился на Йоланку. В ее сторону даже не взглянул, выпил сейчас только с Никлаи: «Прозит!»

Краешком глаза он косился на телефон. Сидит там Шара, ей-богу! Да и Борбашиха, наверное, сказала, что доктор в одиночку...

Ага! Теперь ты на меня смотришь, Фридеш Никлаи! Ты прав. Но подробностей *моей истории* ты не знаешь. Но раз тебе интересно, скажу: у нас похожая история вышла. К сожалению, это так, дорогой родственничек.

Тогда-то телефонов еще не было, а? Несколько цифр, и, пожалуйста, видется не обязательно, можно побеседовать и так. Оно и проще, гораздо проще. Не нужно смотреть друг другу в глаза.

В прошлом году здесь были гости. И мы играли с детьми на домашнем бильярде. Ну да ладно. Ясно и так. Выпьем.

Паркани и Никлаи. Оба совсем позабыли о Йоланке. Естественно, ведь она осталась на балу. Минула полночь. Чокнулись за Новый год, выпили шампанское, и Никлаи понял, что компания захмелела. Расшумелась. Мужчины стали слегка петушиться. Он стоял в зале у

колонны, в черном костюме, прямой и неподвижный. Иногда кивал пробежавшим мимо. Йоланка — рядом, в длинном бальном платье. Раскрасневшаяся, с сияющими глазами. В руке — маленький веер.

— Едем,— сказал Никлаи.— Я прикажу подать коляску.

Йоланка кивнула, но его не слышала. Не поняла. «Вальс! Вот начинают вальс!» Белокурый молодой человек направился к ней.

— Я пойду распоряжусь,— сказал Никлаи. Пока ничего особенного не произошло. Он сделал пять-шесть шагов к выходу. Мелодия вальса заполнила зал. Никлаи отдал распоряжение слуге. Повернулся назад. Йоланка — в объятиях белокурого молодого человека. Вальс. Никлаи остановился. Стоял и смотрел на взвиренный зал. На белокурого молодого человека, на запрокинувшую голову, смеющуюся Йоланку.

— Силы небесные! — сказал Паркани. Налил себе. Даже не почувствовал вкуса коньяка — выпил залпом. Заметил Йоланку в платье с кружевами. Смутился.— Я верю,— кивнул он.— Я верю, милая, что тебе хотелось только *немножко пожить*. Чуть-чуть потанцевать, немного посмеяться. Да и не в этом беда. Просто твоя милость не поняла чего-то. Не поняла, нет.

Он взглянул на Никлаи. Никлаи даже не шевельнулся. Но смотрел тяжело, в упор, с недоумением. Потом отвернулся. Кто-то набросил ему на плечи плащ. У подъезда он сел в коляску. Шел снег, толстым слоем снег устилал улицу. Бесшумно катилась коляска.

— Ха-ха!— воскликнул Паркани, бросил взгляд на Йоланку. О, этот испуг на лице молодой женщины, когда в зале она не увидела своего супруга! О боже мой! Быстро накидку! Прохладная шубка легла на разгоряченные обнаженные плечи. Живо извозчика! Живо!

Снег. Мягкий снег на улице небольшого городка. Белый снег на крышах, фонарных столбах, карнизах. Огоньки. Тишина.

О боже мой! Стук. Стучит, барабанит Йоланка в дверь. В одном из окон свет — это комната мужа. Йоланка колотит в дверь, бьет изо всех сил, топчет снег на крыльце. Продрогла — бальные туфельки мокры в снегу. О, как страшно! Страх в висках, в горле! Не имеют руки, ноги.

— Однако! — передернул плечами Паркани и пропустил еще немного коньяку: ему было холодно. На портрет и не смотрел. Ноги поглубже зарыл в постель.

В окне Никлаи погас огонь.

Дом Сентирмаи стоял на пятой улице от Никлаи, за горой. Туда плелась пешком окоченевшая Йоланка.

— Если подумать, — сказал Паркани, обращаясь к Никлаи, — то это равносильно убийству, любезный родственник.

Лицо Никлаи непроницаемо. Он молчит. Молчит себе и молчит. Йоланка схватила воспаление легких. Она пишет супругу, просит прощения, умоляет. Она же ничего не сделала, чтобы так ее наказывать.

— Н-да, чего-то твоя милость не поняла. Так и не поняла, — сказал Паркани Йоланке Сентирмаи. — Увы.

Никлаи смотрит, молчит. Йоланка умерла. Лицо у Никлаи неподвижно. Йоланка умерла в доме своих родителей, но она умерла и на новогоднем балу. Та Йоланка, которую он хотел видеть своей женой. Нет, она и не умирала — ее просто не было вовсе. Никогда. И напрасно поминают ее имя, он понятия не имеет, о ком речь.

— Выпьем, — поднял рюмку Паркани. Жидкость подрагивала в рюмке, немного коньяку выплеснулось. Никлаи неподвижен. Йоланка Сентирмаи одна, глаза блестят, слегка подергиваются губы. Она ничего не понимает. Кроме того, что ей пришлось умереть.

Паркани встал, обошел кровать и приблизился к родственнику, чтобы рассмотреть его получше. Взгляд его упал на спокойные руки Никлаи.

— Ты был прав, — сказал Паркани. — Но я все-таки боюсь тебя.

Без пяти двенадцать. Выдернуть бы сейчас минут на десять телефон, подумал он. Но не сделал этого.

— В твоё время еще не было телефонов, — сказал он Никлаи. Но оправдываться не стал. Взглянув на ноги, увидел, что стоит в носках на ковре. В таком виде почувствовал себя неудобно. Поставил рюмку, отыскал туфли. Поправил рубашку, галстук, приготовил шампанское, чтобы было под рукой, сел опять в сиреневое кресло. Старался сидеть прямо, не горбясь.

Он ждал полуночи. Хотел чокнуться с Никлаи.

День седьмой

Официанту некуда было торопиться, он терпеливо ждал. Бенкё сидели в ресторане одни, если не считать старика, потягивавшего у печки глинтвейн. С одиннадцати шел снег, движение на дорогах замерло. Воскресный полдень, обеденное время, а ресторан пуст.

— Закажете что-нибудь еще?

— Что? — спросил Бенкё. Посмотрел на мать, потом на официанта. — Да, да. Детям. — Он все еще возился с ухой, никак не мог разделаться с куском карпа, между зубами застряла острая кость. Он ждал, что мать ответит за него.

— Да, детям, — кивнула мать.

Официант терпеливо ждал, заложив руки за спину.

— А где дети? — Бенкё хотелось выковырять кость пальцем, но официант не отходил.

— А правда, где они? — Старушка уже покончила с едой и, подавшись грудью вперед, говорила, говорила. Только сейчас она заметила, что детей возле них нет.

Бенкё осторожно вытащил кость изо рта. В центре зала, между столами, он увидел Тонику. Она играла в классики на инкрустированном каменном полу — прыгала на одной ножке.

— Толика!

Девочка отмахнулась — некогда.

— Толика!

— Ну что?

— Не ну что, а иди сюда. Мама, я прошу тебя, позови ее. А где Лаци, Шари? Лаци, Шари! Вылезайте из-за занавески, она пыльная, грязная, вся прокурена. Фу!

— Занавеска чистая, — спокойно улыбнулся официант.

— Мама, ну пожалуйста, собери ты их. Пусть сядут за стол. Ну что же это такое!

— Им скучно, — сказала старушка. Мягко позвала детей. — Разве вы не слышите, что папа говорит? И слушайте бабушку. Сейчас дядя официант принесет что-нибудь вкусенькое.

Официант неловко улыбался. В темно-синем костюме, рослый, румяный, с ослепительно белыми зубами, он как будто сошел с рекламного плаката.

— Они никому не мешают, — сказал он мягко. — Посетителей сейчас нет. Очень славные дети.

Малыши были в брюках из шотландки, синих свитерах и белых сапожках.

— Есть у вас блинчики с орехами? — спросила старушка. Обед и вино немножко разморили ее. Почти всю бутылку рислинга выпила она. Сып сделал лишь несколько глотков, да и то с минеральной водой.

— Значит, блинчики с орехами. Сколько порций?

— Да, сколько? А где Лулу?

— Лулу! Куда он запропастился?

— Мне кажется, он здесь. — Официант показал под стол.

— Ах это ты. То-то я чувствую что-то мягонькое у ног. — Бабушка приподняла край скатерти. — Иди сюда, звездочка моя, иди ко мне. Не сиди на каменном полу. — Она посмотрела на официанта. — Он так любит дома сидеть на ковре. Так бы и сидел целый день. Он ведь еще совсем маленький.

Лаци и Шари уже толклись возле стола. Волосы растрепаны. Они принялись выуживать малыша из-под стола.

— Лулу! А Лулу — собачка! Ой, собачка Лулу! Осторожно!

Малыш стал кусаться. Вылез и укусил их за руки.

— Лулу! — Бенкё хотел наконец доест остывавшую уху. Жир, красный от паприки, приставал к краям тарелки.

Где тут уследить и за рыбными костями, и за детьми.

— Тошика! — закричал вдруг Бенкё, беспомощно растопырив измазанные жиром пальцы. Он сам испугался своего крика и повторил, сдерживаясь:

— Тошика, да перестань же ты наконец прыгать!

— Так значит, четыре порции блинчиков? — переспросил официант.

— Да,— ответил Бенкё.— Их именно четверо... Умоляю, мама, ну последи за детьми. Не хочу я с ними ругаться.

— А с ними и не надо ругаться.— Старушка умиленно смотрела, как малыши, подбежав к Тонике, стали прыгать за нею следом.

Старику, потягивавшему у печки глинтвейн, все это явно нравилось.

— Один лучше другого,— сказал он старушке.

— Падает снег, падает снег, адаетснег, даетснегсег,— затанул Лаци. Шари подхватила, и они побежали к выходу. А Тоника теперь прыгала задом наперед.

— С ними бесполезно разговаривать.

— словно четыре маленьких гномика,— улыбнулся старик.

Бенкё кивнул: спасибо. А наклонившись над ухой, сказал:

— Их в приличное место с собой брать нельзя. Вообще нельзя выпускать из их клетки.

— Ой, ну зачем ты так!

— Вот, это мой воскресный обед! Даже не могу докончить эту проклятую уху. Пожалуйста, она уже как лед.

— А ты не нервничай. Я же не нервничаю. Если бы я так нервничала, то каждый день оставалась бы без обеда.

— Мне очень жаль, что все это свалилось на тебя, мама, В такие моменты я понимаю, что это такое.— Он отпил минеральной воды. Опять болел желудок. Последнее время это часто случалось после еды. Мгновенная боль, похожая на резкий удар. Он надавил пальцами под ребро.— А Шара неплохо устроилась.

— Она же учится. Что она там учит? Она мне говорила, но я забыла.

— Эстетику. В вечернем университете.

— А что такое эстетика? Налил бы мне вина, помоему, там еще осталось в бутылке.

— Учится она!— нервно сказал Бенкё.— Кто ее знает! Нас выпроваживает, а сама может делать что угодно.

— Перестань!

— Неделю валяется на диване, неделю в квартире не убрано. Она наверняка и учебу эту придумала для

того, чтобы иметь больше свободы... Смотри, они сейчас отдерут портьеру! Если ты не вмешаешься, я займусь ими сам.

— Вот и блинчики, пожалуйста.— Официант ловко расставил на столе четыре тарелки.

— Дети! — позвала бабушка.— А ну-ка, быстренько сюда. Тут для вас есть что-то вкусненькое. Идите же ко мне, птенчики мои.

— Извините нас,— обратился Бенкё к официанту.

— Что вы, что вы. Вы можете гордиться своими детьми. Вот если ребенок ведет себя тихо, тут уж, действительно, дело неладно.

— Не смей брать руками,— сердито одернул Бенкё Ладику.— Сколько раз тебе говорили, что руками,— он понизил голос,— не жрут?!

— Вкусненькие блинчики. Для нашего маленького Лулу,— просюсюкала бабушка.

— Я рассчитаюсь,— сказал устало Бенкё. Он потрогал живот. Как камень. Придется лечь на операцию.

— Вам не понравилась уха? — спросил официант, положив перед Бенкё счет. — Сто сорок два флоринта.

— Да нет, очень вкусно, вот только желудок у меня...

— Болит? — забеспокоилась мать.— Опять?

— Нет. То есть... Не сильно.— Он дал официанту двести флоринтов и попросил сдачи пятьдесят.

— Ну, доедайте блинчики — и пойдем.

Бенкё поднялся. Наконец-то он мог встать из-за стола. Было три часа. До дома можно добраться минут за двадцать, если дорога сухая. Но снег не перестает. Так что уйдет не меньше часа.

— Есть еще немного вина,— сказала старушка,— не оставлять же его. Дети, не кидайтесь шапками. Мама и папа не для того работают. Лаци, подними носовой платок. И не трогайте мою сумку, а то не найдешь потом. Вон как вас много.

— Да? — Бенкё надел полушубок.— Я пошел, буду ждать вас в машине у входа.

В машине он немного передохнул. Снег залепил ветровое стекло. К четверем будем дома, подумал он, до того, как начнется матч по телевизору, нужно еще просмотреть проекты планов. Завтра в девять совещание в тресте.

Дети уже толкались у дверей ресторана, надевая синие вязаные шапочки.

— Спокойно, спокойно,— командовала бабушка.

— Это, к вашему сведению, «трабант», а не сугроб,— разозлился Бенкё.— И нечего его разносить.— Он смотрел, как дети забирались в машину, переваливаясь друг через друга. Правой рукой он разгреб их, освобождая место для малыша. Лулу вцепился ему в запястье и запел.— Того, кто будет вести себя тише всех,— сказал Бенкё,— вечером покатаю на плечах. Поехали!

Снег падал хлопьями. Дорога была скользкой, он не решался ехать со скоростью более сорока километров. В зеркальце машины он видел синие шапки детей и себя. Узкую полоску своего лица. От белизны снега оно казалось серым. Он провел рукой под глазами. Посмотрел на мать — как же они похожи друг на друга. Круглые, мясистые лица. Когда-то ему хотелось иметь более резкие черты лица. Теперь уже все равно.

Огромная машина с нефтяной цистерной тянулась мимо «трабанта», обдавая его снегом. «ОСТОРОЖНО. ОГНЕОПАСНО». Вот уже эта громадина обогнала их. «ОГНЕОПАСНО». Двойные колеса, грохот. Ее шофер хоть что-то делает. Когда в гараже он выходит из этого чудовища, то хоть вздохнет с облегчением — пропесло. Как Ив Монтан в «Плате за страх». Это по крайней мере какое-то дело. Какое-то дело. Какое-то дело. Какоетодело...

— Что ты сказал? — спросила мать. Она сидела рядом и дремала. Дети копошились сзади. Они царапали замерзшее стекло, дрались, хихикали и болтали на своем языке. «И не суброг. Трапа карапа»...

— Когда ты был ребенком, ты так же пристраивался на коленках у окна. У окна автобуса. Помнишь, раньше рядом с кабиной шофера был такой закуток. В старых автобусах. И так же глазел на все, как Лаци. Нет, как Тоника... Ты был невыносим. Однажды засунул себе в нос бобы...

— Хоть бы я тогда задохнулся... — И подумал: если из-за Шары нельзя будет смотреть матч, поднимусь к Молнарам. Так даже будет лучше.

А дети сзади:

— Окапякаться грязноко. Снеговук.

— Помнишь...— Старушка откинулась на сиденье, и голос ее певнятно доносился из-под меховой шапки.— Помнишь, ты пошел в армию в сорок девятом? Мог и не идти, но тебе хотелось во что бы то ни стало. У тебя тогда голова шла кругом от всех этих общественных дел. Но потом ты вырос. Только все могло сложиться удачнее. Хорошо еще, что у тебя есть эта машина. Да, это хорошо.

Да уж, это мотор. Машина эта. Прямо трактор! И голоса детей: — Аписинапсимапсикаксп. Негугур. Карапьяк. Карапьяка, карпьяка...— И снег. А Дунай не замерз, хоть и холодно. И хлопья снега хлещут в ветровое стекло. Вот и домики Сентэindre. А у пас, конечно, и сегодня не убрано. И завтра будет все то же. Шарра занята своей эстетикой, а у мамы болит спина. В девять совещание в тресте, а я еще и не заглядывал в магериалы. Будет ли когда-нибудь так, чтобы надомной ничего не висело?!

— Скажи,— обратился он к матери,— скажи, мама, ты не помнишь, кем я хотел стать?

— Что ты, сынок?

— Не знаешь, кем я хотел стать в детстве?

— В детстве? О, у тебя было много прекрасных планов!

— Ну а больше всего кем я хотел стать? Не помнишь?

Старушка на секунду задумалась. Обед и спящий снег разморили ее. Она улыбнулась.

— Нет, сынок, этого я не помню.

В самый разгар

— Ну, вот я и здесь, только выключила кофеварку. Алло! Алло, Анча!

— Да, да, я слушаю. Интересно, что он будет делать дальше, где встретит Новый год?

— Я только кофеварку выключила. Могу и тебя угостить чашечкой кофе... — смеется Кати. — Слышишь?

— Ладно. Я вот *смотрю*, как он теперь будет ей врать.

— Ой, а я прозевала. Так *сейчас эта* его жена? Очень даже *ничего себе*.

— Фамилии не знаю, но, кажется, я уже видела ее в каком-то фильме. Наверно, его тоже ставил Пьетро Джерми¹.

— Все такие фильмы он делает, правда? Он в них знает толк.

— Вот красотища! — гудит в трубку Анча.

— Что, что?

— Ты что, не смотришь, что ли?

— А-а. Да, да, я только устроилась поудобнее.

Кати забралась в угол софы, подложила под себя диванные подушки, свернулась калачиком и умудряется при этом потягивать кофе. Зеленую телефонную трубку она придерживает подбородком и из-под распущенных рыжих волос смотрит на экран, озаряющий комнату голубым светом.

— Анча? Налить тебе немножко кофейку в трубку? А? Крепкий получился, так что опять не смогу заснуть... — Она горько усмехается, ерзая на подушках и устраиваясь поудобнее.

¹ Пьетро Джерми (род. в 1918 г.) — итальянский режиссер и актер, лауреат премии Оскара. Советскому кинозрителю известен по фильму «Развод по-итальянски».

— Ничего мужик, а?
— Это Уго... Как его?
— Тоньяцци¹. А что, нет?
— Плюгавенький малость.
— Сама ты плюгавенькая!
— Ах, прости, дорогая, я не знала, что ты в него втюрилась.

Невыятное бормотание на другом конце провода. Кати потягивает кофе.

— Ну ладно, давай смотреть.

Тоньяцци в гостиной. Поглядывает на часы. Накрытый стол. Кьянти и шампанское. На Тоньяцци белая рубашка, брюки к смокингу. Жена в фартучке хлопочет — кормит супруга. Дети под ногами вертятся. Тоньяцци смотрит на часы — ему пора. «В полночь смотри телевизор, я тебе помашу...»

Анчу словно кто щекочет:

— Спорим, он их обедеет вокруг пальца!

— Ну и гад!

— Интересно, к которой из любовниц он пойдет?

— Ах, он гад такой, — твердит Кати.

Тоньяцци трогательно прощается с семьей. Торопливо убегает. Следующий кадр. Ну конечно, он у той красотки! Она еще в фильме «Соблазненная и покинутая» снималась. Маленькая, темноволосая, этакая молодая пантера. Сидят перед телевизором. Полночь. Тоньяцци, музыкант с телестудии, на экране поднимает бокал с шампанским, подмигивает...

— Нет, ты посмотри, какой гад! Ты видишь?

Голос Анчи:

— Ах черт, изображение прыгает. Наверно, кто-то включил стиральную машину. Все у телика, передачи в самом разгаре, а они стиральную машину включают!

— Так ты не видишь? — Кати возмущенно объясняет: — Он же у своей любовницы сидит! Конечно, он с приятелями заранее отснял в студии эту новогоднюю сцену. Ты видишь? Алло!

Молчание. Только из телевизора доносится приглушенное чтение, звучит итальянская музыка. Отставив чашку, Кати вытягивается на софе, лицо ее мрачно. Она дует в трубку.

— Алло! Алло!

¹ Тоньяцци, Уго — популярный итальянский актер.

— Ну вот, настроила. Черт их побери! В самый разгар включают стиральную машину! А что будет с третьей? Спорим, он еще и к ней пойдет? Алло! Кати?

— Я слушаю.

— Я говорю, он и к третьей еще пойдет.

— Да, я слышу.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Ах, ну какая же ты дура, ведь это всего лишь фильм.

— Знаю. Знаю, что это всего лишь фильм. У тебя нет поблизости часов? Который теперь час?

— Увы, нет, часы в другой комнате. Должно быть, минут пятнадцать одиннадцатого. Алло!

Кати ложится на спину. Потом отворачивается к стене. Голос Анчи из зеленого аппарата ползет следом.

— Ну, что я говорила? Уже и с этой прощается. *Нет, он по мне, этот тип!*

Кати набрасывается на зеленую трубку и, стоя на коленях:

— *По тебе?! Рехнулась?!*

Итальянская музыка. Гармоника, шарманка, как обычно. Кати отворачивается от голубого мерцания. В мембране скрип, хрип.

— Кати? Кати! Ты плачешь?

Гортанный голос актера, женский смех, шум римской улицы, хотя телевизор приглушен нарочно, чтобы можно было болтать по телефону.

— Ты что, плачешь? Ну что с тобой?

— Вот ты скажи мне!.. — Кати по-детски всхлипывает. — Нет, ты скажи! Он в пять часов кончает. В пять! И каждый день в полночь... Он и телевизор этот проклятый купил, чтобы самому каждый день спокойно до полуночи...

— Но что он говорит? Все-таки, что? Ведь говорит же он что-нибудь?

— Ухмыляется.

— Что?

— У-хмы-ля-ет-ся!

— Как? Просто ухмыляется, и все? Он что, приходит пьяный?

— Нет. Станет в дверях и у-хмы-ля-ет-ся!

— Погляди! Погляди-ка! И эта ребенка ждет! — Вопль Анчи — вопль истинных поклонников кино.

— Знаешь, я, пожалуй, положу трубку.

— Ой, нет, нет! Не сердись! Просто я одновременно фильм смотрю, и у этой черной пантеры тоже будет... Прости! Значит, просто ухмыляется? И ты терпишь?

— Что?

— Ну то, о чем говорила. Что он домой не приходит.

— Что я могу поделывать?

— Ты даже не спрашиваешь, где он бывает?

— Боюсь спросить.

— Но, может быть, у него действительно какое-нибудь важное дело?

— Каждый день? А, брось!

— Н-да, каждый день, это слишком. Конечно.

— Слушай, я правда положу трубку. Что я тебе надоедаю со своим этим. Просто вдруг нашло что-то. Смотри фильм. Я повешу трубку. Выключу и...

— Кати! — Молчание. — Кати! Алло!..

— Да. Я слушаю.

— Не дури! Смотри, не сделай какой-нибудь глупости... Живи я поближе, сейчас пришла бы к тебе. Хорошо бы, да? От этого телефона никакого толку.

— Анча? Знаешь, а может, у него и нет женщины. Вообще никого нет. Подозрительно только, что он ухмыляется.

— Это, должно быть, *жутко* бесит.

— Я уж подумала даже, что ему просто домой идти не хочется.

— Да, но где же он болтается допоздна?

— О! От этого с ума сойти можно!

Кати переползает на коленях в самый угол софы, в полушки. Они валяются теперь как попало. Обеими руками она сжимает зеленую трубку.

— И эта ухмылка его, знаешь!..

— Вот это прямо понять невозможно. — Анча слушает Кати вполуха. И вдруг неожиданно вскрикивает: — Ой, видала? Не сердись, но ведь он, бедняга...

— Я не видела. Вообще ничего не видела. Ничего!

— Я только потому, что он бедный... гляди! Он умер!

— Что он?..

— Умер, Тоньянци умер. Ой, смотри скорее! Сидит на почте в кресле, мертвый. Не выдержал. Его

пытаются привести в чувство, все напрасно. О, как мне жаль его!

— Умер?

— Хана! Кара божья, а? Видала?

Кати медленно поворачивается к телевизору и сквозь всклокоченную рыжую гриву смотрит на экран. В голосе Анчи надежда, ей так хочется поговорить о Тоньянци.

— Видела? Алло, Кати!

— Хоть бы об этом подумал.— Кати уставилась на тусклый экран.— Да, об этом. Я же беспокоюсь, не случилось ли с ним какой беды.

— О, не думай о таких вещах.

— А вдруг! Может, именно сегодня он пришел бы вовремя? Только где-то что-то... В такие минуты в голове одна мысль: в «Скорую» звонить, в полицию, в больницы...

— Глупости!

— Знаешь, если бы мы оставили...

— Что?

— Ре-беп-ка! Если бы оставили ребенка, может, тогда... Но я ведь боялась, что малыш будет раздражать его.— Кати резко смеется в трубку.— И он не станет спешить домой...

— Да, человек все рассчитывает, высчитывает...

— Что ты говоришь?

— Говорю, выгадываем все, как лучше. А, черт! «Новости» смотришь?

— Нет.

— Подожди, я тоже выключу.

Кати сидит неподвижно на корточках в углу дивана. Ноги затекли, но она не меняет позы. На экране мелькают города, улицы, танки, заводы, машины. Молодые парни в белых рубашках, заложив руки за голову, бегут вдоль стены. Прямо на деревья падает самолет. Лицо африканского министра. Зал заседаний ООН. Хорошо поставленный, бесстрастный голос диктора.

— Я здесь,— раздается в трубке голос Анчи.—

Кати?

— Ну говори, говори!

— О чем?

— Не знаю.

Полночь в доме туриста

До одиннадцати Йоцек околачивался на кухне: складывал грязную посуду, перебрасывался шутками с судомойкой и поварихой, сваливал в помойное ведро объедки с тарелок — а взамен получил полную тарелку студня и порцию свиной колбасы; прихлебывая пунш, он заглядывал в зал, как только распахивалась дверь, и смотрел на танцующих. С темно-коричневых балок свисали цветные полосы серпантина, горели фонарики: официанты разносили по столам обернутые белыми салфетками бутылки шампанского — к новогоднему тосту. Часов в одиннадцать Йоцека потянуло на свежий воздух, он вышел на заснеженную площадку за домом, побрел к конюшне, заглянул к лошадям. Лошади встретили его ржаньем: Йоцек похлопал их по крупам, почесал шею под густой гривой и подбросил сента.

— Вот и вам новогоднее угощение! — бормотал оп.— А там сейчас веселье в полном разгаре!

С вершины гор со свистом налетел ветер, наметая к конюшне мелкую снежную пыль; Йоцек, зажмурясь, подставил лицо снежному вихрю, с наслаждением вдыхал чистый морозный воздух. Чуть поодаль, увязая по колено в снегу, бродил какой-то мужчина с непокрытой головой и без пальто. Должно быть, кто-то из гостей вышел освежиться. Человек потоптался у дома, зачем-то заглянул в дровяной сарай, потом обошел во круг дома и вынырнул у палисадника перед окнами завхоза, явно что-то высматривая. Йоцек направился к нему. Застигнутый врасплох, мужчина остановился.

— Вон что, — смущенно посмеиваясь, сказал он Йоцеку, — так это не вы ли привезли сюда на санях наши вещи?

— А как же, — кивнул Йоцек. — Кроме меня, тут возить некому.

— Тогда с Новым годом вас! — сказал мужчина.
— Благодарствуйте, а только двенадцати еще нету.

— Эка беда, нет — так будет! — Мужчина внимательно разглядывал Йоцека. Достав из кармана сигареты, он закурил сам и угостил старика.

— Лучше бы вам зайти в дом, — перешитительно посоветовал Йоцек, — не ровен час простынете. Да и за Новый год скоро уж чокаться пора...

Мужчина горбился, ежился под порывами ветра, потирал руки, согревал дыханием озябшие пальцы и глубоко затягивался сигаретой; это был брюпет лет сорока, явно любитель выпить: несколько одутловатое лицо выдавало его пристрастие к спиртному.

— Послушайте, — обратился он к Йоцеку. — У меня к вам просьба.

— Пожалуйста... какая же просьба? — подбодрил его старик.

— У вас ведь, наверно, есть тут какая-нибудь комнатуха?

— Как же не быть, есть! Ведь я тут живу.

— Я плачу вам сто форинтов. — С этими словами мужчина вытащил заранее приготовленную аккуратно сложенную сотенную бумажку и протянул старику. — Взамен прошу только в полночь пустить меня на часок к вам в комнату. На часок, не больше. Меня и... ну, словом, с дамой. Не беспокойтесь, все будет в наилучшем порядке... Ну, идет?

— А по-другому нельзя уладить? — замялся Йоцек.

— Как тут уладишь? Там ведь, в доме, сами понимаете... пеловко...

— Да комнатенка-то у меня неказистая больно! Койка железная, вместо одеяла — попона, рвань всякая...

— Вы уж посочувствуйте, не портите мне новгородную ночь, — принялся упрашивать мужчина. — Ведь и вы были молоды.

— Не по душе мне такое, — проворчал Йоцек, но сотенная уже перекечевала к нему в ладонь. Мужчина, взяв его под руку, потянул за собой.

— Ну-пу, покажите, где оно, ваше жилье. Оставьте дверь незапертой, вот и все, что от вас требуется.

Йоцек, отстранившись, высвободил руку, вынул из кармапа ключ на шнурке.

— Пожалуйте сюда. Да только смотрите, чтобы все было в аккурате. Я такими делами сроду не занимался, и если тут прознают...

Он повел мужчину вниз по склону, меж сосен, пригнутых тяжестью снега. Возле одной из дверей пристройки старик остановился, отпер замок, вошел, зажег свет и занавесил окно, спустив мешковину. Воздух в помещении был спертый; в железной печурке горел огонь. Йоцек стал у кровати, глянул гостю в лицо.

— Вот она какая, моя компата. Для вас бедновата будет.

— Нет, нет, ничуть,— поспешно возразил мужчина.— Вот разве что свечу зажечь. Найдется у вас свеча? Оставьте тогда на столе. Свеча будет в самый раз — романтика и все такое прочее...— Потирая руки, мужчина дождался, пока старик достанет свечу из ящика стола, а затем увлек его прочь.— Ну, пошли скорее, а то Новый год на носу! — Он оживленно хохотнул и похлопал Йоцека по спине.— Ничего, старина, все будет в порядке!

Гость заторопился к главному входу; свет из окон ресторана отразился на заснеженном склоне его непомерно длинную, вихляющуюся тень. Йоцек опять побрел на кухню; сотенная уютно пригрелась у него в кармане, и на душе у старика полегчало. Он тихом прихватил с блюда мосол и принялся обглаживать оставшееся на нем копченое мясо; обсасывая кость, подошел поближе к двери в ресторан, поискал взглядом нового знакомого; хотелось посмотреть, с какой такой женщиной надумал он укрыться в полуночной тьме.

— Чего встал на дороге? — окрысился на старика один из официантов.— Самая беготня началась, а он тут под ногами путается!

— Ишь, разбушевался,— возмущенно огрызнулся Йоцек.— У всех людей Новый год, а для меня, выходит, и праздника нету?

Наконец старик увидел того мужчину: он с компанией сидел за столиком неподалеку от двери. Справа от него сидела блондинка, молча наблюдая веселое застолье, зато брюнетка по левую сторону держалась развязно и крикливо. Йоцек не мог определить, которая из двух прошмыгнет после полуночи вместе с этим

типом в его хибару. Мужчина одинаково приветливо обращался к обеим, оживленно подливал вина, чокался, наклоняясь то к одной, то к другой, доверительно нашептывал что-то, обнимал их за плечи; женщины в свою очередь прижимались к нему с обеих сторон, хотя блондинка вела себя сдержаннее. По их поведению Йоцек тоже не сумел докопаться до истины. Компания успела как следует подвыпить, приятели обнимались через стол, щелкали пальцами, подзывая официанта, громко говорили и смеялись.

Комендант следил за часами; за минуту до полуночи он подал знак оркестру, и музыка смолкла. Поднялся шум, началась суeta. Хлопали пробки, пенилось шампанское в бокалах. Комендант подскочил к заранее приготовленной медной ступе и принялся отбивать двенадцать ударов. Наступила темнота; гости запели гимн. Отовсюду раздавался звон бокалов, шутки, смех. Йоцек, позабыв обо всем на свете, растроганно замер; он хотел было пожать руку какому-то официанту, но тот шмыгнул мимо; старик наугад тыкался в темноте, ища рукой встречную руку.

— С Новым годом... с Новым годом... — взволнованно бормотал он, но руки скользили мимо, никому не было дела до одинокого старика. Потом опять зажегся свет и заиграла музыка, суeta поднялась пуще прежнего. Сновавшие взад-вперед официанты толкали Йоцека с разных сторон.

— Эй, старина, отошел бы ты в сторонку! Чуть поднос у меня из рук не вышиб!

Йоцек даже не стал огрызаться. Он пробился сквозь толпу: уж очень хотелось ему посмотреть, исчез ли тот мужчина. Его нигде не было видно. Гости танцевали, обвитые ленточками цветного серпантина, осыпая друг друга конфетти из пакетиков. Женщин тоже не было видно: ни блондинки, ни брюнетки. Йоцек прижался к стене, чтобы никому не мешать; в сапогах, в вельветовом пальтеце стоял он, переминаясь, в ярко освещенном зале, но вскоре ему захотелось спать: от шума, музыки, быстро мелькающих в танце пар кружилась голова.

В кухне стряпуха сунула ему большую глиняную кружку подогретого вина.

— Выпейте, Йоцек, от этого сон будет крепче. А колбаски не хотите?

Йоцек покачал головой: нет, ничего он больше не хочет, вот только выпьет вина и отправится на покой. Старик прикидывал про себя, освободилась ли его комната.

— Время-то как быстро пролетело,— произнес он, лишь бы что-то сказать.

— И впрямь,— поддакнула повариха. Она раскраснелась от жара, суетясь в пропитанной запахом топленого сала кухне; тонкий белый халат, взмокший от пота, был расстегнут сверху, и в вырезе виднелась мощная грудь; присев на табуретку у плиты, повариха обмахивалась полой халата.— Ничего не скажешь, пришлось нам сегодня потрудиться! — тяжело отдуваясь, проговорила она.— А ну-ка, кусочек ливерной!

Йоцек, прихлебывая вино, покачал головой.

— Вот-вот, и вам бы только выпить!..— вздохнула повариха. Все вокруг было пропитано запахом сала. Курчавые завитки, выбившиеся из-под косынки, прилипли к потному лбу поварихи. Глубоко посаженные глаза на красном, распаренном лице казались заплывшими от усталости.— Эх, Йоцек, Йоцек! — Она помассировала свои мощные лодыжки; ноги повыше колен у нее были мягкие и белые. Она тяжело поднялась и передвинула котел на плите.— Что, все не нажрались там? Эх подмели все подчистую... Суп из квашеной капусты, вот что им теперь понадобится...— Из зала доносилась музыка; в мойке горой громоздились грязные тарелки.— Ну что ж, пускай их веселятся, верно, Йоцек? Старый год минул, новый настал. Что вы для себя загадали, Йоцек?

Она с улыбкой ждала ответа, но, видя, что старик только пожимает плечами, махнула рукой.

— Поставьте-ка вон туда свою кружку да отправляйтесь на боковую, коли охота пришла.

— Я аккурат и собирался,— сказал Йоцек.— А то ведь мне чуть свет выезжать...

Повариха больше не обращала на него внимания: одернув фартук, она опять принялась за работу. Йоцек решил, что время вышло и можно идти в свою каморку. С тропинки всмотрелся, не просвечивает ли огопек сквозь мешковину. В окне было темно. Он отворил дверь; сперва ему показалось, будто в комнате так никто и не побывал, но тут он почувствовал сладковатый запах духов, а включив свет, обнаружил на

столе наполовину опорожненную бутылку шампанского. Йоцек опустился на железную койку, посидел немного, затем повернул голову и оглядел подушку; он было поднял ее, чтобы перевернуть на другую сторону, но передумал и, бережно поднеся ее к лицу, припнулся. От подушки исходил чужой, незнакомый запах: так пахло от женщин, приезжавших из города по узкоколейке, он не раз улавливал этот запах, когда встречал гостей на вокзале. Йоцек обвел взглядом пустую комнату и снова поднес подушку к лицу.

— Он самый,— проговорил он вслух,— бабий дух...— Ему сделалось как-то не по себе от этих громко вырвавшихся слов, он положил подушку на место, встал, подошел к столу, повертел в руках бокалы.— Надо будет обратно снести. Только бы не заметили...— Йоцеку самому не нравилось, что он говорит вслух, но совладать с собой не мог.— Первым делом надо бутылку опорожнить.— Он схватил бутылку с шампанским. Но выливать пожалел: не пропадать же добру. Отхлебнул глоток, подержал во рту, смакуя, затем как следует потянул из бутылки. Больше он уже не говорил вслух — расхотелось. Он скинул сапоги и растянулся на своем убогом ложе. Лежал неподвижно, не решаясь прижаться щекой к подушке, и сон долго не приходил к нему. Ему стало зябко, и он укрылся; лежать без подушки было неудобно, и ему с трудом удалось заснуть.

На рассвете старик запряг лошадей: надо было, как обычно, съездить на центральную базу и обратно. Светало, когда он тронулся в путь; ветер утих, и лишь деревья и кусты с подветренной стороны ошетинились колючками инея. Лошади то и дело по грудь проваливались в сугробы, снег скрипел под полозьями. Йоцек, закутавшись в полушубок так, что только нос торчал паружу, сидел на облучке. Было тихо; серое небо готовилось низринуть снежные потоки.

В стороне от дороги за деревьями он уловил какой-то шорох. Йоцек отогнул воротник полушубка и прислушался. Страшные звуки приближались; они явно исходили от человека, по это не были чьи-то отдаленные голоса да скрип лыж по снежному пасту — привычные для здешних мест; кто-то пешком пробирался по лесу. Йоцек натянул поводья, и лошади ста-

ли. Шум слышался теперь совсем близко, и вот Йоцек увидел под елями женщину в зеленой лыжной куртке и сапогах; она с трудом шагала по глубокому снегу. Шапку она, видимо, потеряла, на непокрытые белокурые волосы с веток осыпался снег. Заметив возчика, женщина остановилась.

— Скажите, пожалуйста, — усталым голосом проговорила она, — вы едете к узкоколейке?

— К ней самой, — ответил Йоцек. — Где центральная база.

— Не подвезете меня? — Женщина доплелась до повозки, ухватила за боковую решетку и взглянула на старика. В этот момент Йоцек узнал ее: почью в ресторане она сидела рядом с тем мужчиной. Кровь бросилась ему в лицо; он лишь неловко махнул ей рукой, знаком показав, чтоб садилась.

— Комендант мог бы предупредить вас, что я поеду к узкоколейке, — сказал Йоцек, когда повозка тронулась.

Выбившаяся из сил женщина, сгорбившись, сидела рядом с ним.

— Я не знала сама, что захочу уехать, — покачала она головой.

Йоцек помолчал; он осторожно потянул носом, но от женщины лишь свежо пахло снегом; ничто не напоминало запах духов в его каморке.

— Я вас и с Новым годом не поздравил! — усмехнулся Йоцек. — А ведь так оно полагается... — Он взглянул на свою попутчицу и осекся: на глазах у нее выступили слезы. — Вот-те на! — растерянно воскликнул он. — Что же это...

— О господи! — Женщина разрыдалась. — Этого не может быть, этого просто не может быть! — Тут она опомнилась и, тихонько всхлипывая, ухватила Йоцека за руку. — Не сердитесь, дяденька, не хочу я портить вам настроение, уж лучше мне слезть, доберусь и пешком...

— Еще не хватало замерзнуть на дороге! — проворчал Йоцек.

— Может, и лучше бы мне замерзнуть! Умереть, да и дело с концом!..

— Экие страсти вы говорите, милая! — Йоцек стегнул коренную. — Праздник пришел, Новый год, людям веселиться положено!

— Веселиться! — опять расплакалась женщина. — Какое уж тут веселье! Вот он зато повеселился: в полночь сбежал с этой... Нет, нет, пустите меня, лучше я в лес пойду!

Йоцек удержал ее за руку:

— Эк что удумали!

Женщина притихла и только мотала головой. Йоцек поднял воротник, чтобы спутнице не видно было его лица. Он бормотал лошадям привычные слова, однако мысли его были далеко: стофоринтовая бумажка не шла из ума. И угораздило же его польститься на деньги! Сани заносило по бездорожью, Йоцек старался удержать поводья. «Значит, с ним была чернявая...» — думал он.

— Красиво тут у нас, — хрипловато заговорил он и обвел кнутом вокруг. Женщина не отвечала. — Зима нынче суровая... — добавил Йоцек.

— Сам завез меня сюда, — после долгого молчания произнесла женщина. Она обращалась не к Йоцеку, а скорее говорила сама с собой. — Мой муж... — Голос ее звучал уже спокойнее. — Прежде мы всегда встречали Новый год вдвоем, дома. Я никак не могла понять, почему он так рвется сюда... А теперь пусть меня поищет!

Йоцек долго молчал, прежде чем решился спросить:

— И вы просто так взяли и уехали? Ему даже не сказали?

Женщина невесело рассмеялась:

— Он еще спит. — И вдруг припала к Йоцеку; она билась лбом о костлявое плечо старика и, смеясь, приговаривала: — А я-то как верила!.. Так обмануться!..

У Йоцека кровь стыла в жилах; испуганный, потрясенный, смотрел он на заснеженный лес, на бескрайний простор вокруг.

Посреди Земли *

И что бы вы думали? Прошло добрых два часа, гляжу, а она опять тут как тут. Смеркалось. Я работала в саду, палую листву под деревьями сгребала. Между делом выполола сорную траву на клумбе с астрами и подвязала георгины — они было под ветром совсем поникли, большие, грустные их макушки клонились к земле. Осень все больше себя оказывала, утренники становились день ото дня холоднее, и ветер наскакивал злой и порывистый, но от дел никуда не денешься. А тут, смотрю, и циннии отцвели, надо бы выбрать подходящие и на семена срезать — словом, работы невпроворот. Так что я даже и не жалела, что она ушла — только попусту от дел отрывала, — а тут вот те на, опять она выглядывает из-за ограды; стоит как в воду опущенная, руки уронила, плечо оттянуто сумкой, голову склонила набок и молча глядит на меня через штакетник.

— Стало быть, ты не уехала? — окликаю ее. — Опоздала к поезду или еще что приключилось? — Потому как раньше она говорила, что у нее, мол, есть время до отхода поезда, но ей неохота торчать в привокзальном буфете.

— Нет, я не опоздала.

— Тогда в чем же дело? — Я подошла к калитке и отодвинула щеколду. — Заходи, нечего тебе там забор подпирать. Ну заходи же!

Она едва волочила ноги, со стороны подумаешь, будто тяжелобольная; ей бы мои хвори да заботы, посмотрела бы я, как она тогда бы ползала. Я распахнула калитку и посторонилась, чтобы дать ей пройти; руки у меня все в земле были, я сорвала пук травы, кое-как обтерла пальцы.

* © Перевод на русский язык издательство «Художественная литература», 1980.

— Может, подсобишь кое в чем по саду,— говорю ей.— Палую листву сжечь надо.— Она мне и на это ни слова.— Ну-ка, закрой калитку, видишь ведь, у меня руки в земле.

Она толкнула калитку плечом, но вышло это у нее куда как неловко: подолом зацепилась за гвоздь, так и располосовала юбку — а ей и горя мало. Сумку она поставила на землю возле самой калитки.

— Бери свои пожитки,— говорю я ей,— и неси в кухню. Сейчас и я за тобой приду.

Она нехотя подняла сумку; уж и не знаю, что она туда набила, а только видно было, что поклажа оттягивает ей плечо.

— Неможется тебе, что ли? — спросила я ее напрямик.

— Я совершенно здорова,— отозвалась она. И остановилась среди виноградных саженцев. Одета она была в какое-то немыслимое тряпье, а поверх наброшена тонкая вязаная кофтенка; лопатки, того гляди, пропорют одежду, до того она была худющая да плоская: ни бедер, ни зада. Волосы заплетены в косу, несколько темных прядок выбились, и оттого испитое лицо ее казалось еще бледнее; одни глаза в пол-лица, точно ее напугали когда-то, вот и остался с тех пор этот всполошенный взгляд.— Дождь собирается.— Она подняла глаза к небу.

— Может, и соберется,— поддакнула я.— Ежели оттуда задует.— И я махнула рукой в сторону леса и гор.— Ежели оттуда задует, то уж точно дождя не миновать.

— Гроза будет страшная,— сказала она, и ее перевернуло.

— Э-э, девка, видать, и вправду захворала ты,— говорю ей.— Да и зябко тебе, должно быть, в этакой хлипкой одежонке. Стунай-ка ты на кухню, сейчас с тобой печку затопим, в момент согреешься.

— Печку затопим? — Она оживилась, и даже лицо у нее вроде бы посветлело. Потом покачала головой.— Уверяю вас, тетя Веронка, я ничем не больна.

— Ну и ладно, ступай в дом,— говорю,— я только докончу листву сгребать, а то вишь как темнеет. Иди, я сейчас.

Смотрю это я, как она идет по дорожке, и думаю: все же какой-то червь ее гложет, неспроста она так

исхудала. Глядишь, еще мне на старости лет придется с ней нянчиться. Брела она неуверенно, будто и не знала, в какой стороне дом находится; вот скрылась за беседкой, а я притворила калитку, как положено, и задвинула засов. Сгребла опавшие листья из-под деревьев, выполотую сорную траву затолкала в корзину; сумерки сгустились так, что теперь уж ни за какую работу не возьмешься. Начал накрапывать дождь, и, пока я дошла до навозной кучи и вывалила мусор из корзины, сверху лило всюю. Ветер захлестывал струи дождя в лицо, но не в моем характере было уйти в дом, пока не уберу все по местам. Сроду не любила бросать дело на середине. Я занесла корзину в кладовку, повесила ее на крючок; у меня в хозяйстве каждая вещь свое место знает: садовый инструмент начищен до блеска и составлен в угол, серп повешен острием кпизу на стене рядом с секатором и пилой, бечевка сложена в коробку из-под обуви, молоток и клещи — в старом ящичке, покойный муж мой сам смастерил его и перегородочками отделил гвозди и болты — погнутые, заржавелые — от новых, и все опп по величине разложены, так что нет нужды часами искать, когда что понадобится; я всегда знаю, где что лежит и где что взять. Так уж привыкла: не по себе мне, когда в доме, в кладовой, во дворе, в саду или в пгичнике что не в порядке.

Я подхватила метлу и успела еще кое-как смахнуть куриный помет; дождь разошелся всюю уже, и пыль прибил, да только не хотелось мне, чтобы нечистоты размокали во дворе. Куры уселись на насест, мне только и оставалось, что захлопнуть за ними клетушки. Потом я сменила воду в собачьей миске, хотя сегодня пес вполне мог бы напиться сточной воды, но уж такая у меня привычка — сполоснуть собачью плошку и налить на ночь свежего питья. Собаки во дворе не было видно, должно, рыскает где за огородами, ну, ничего, ненастье загонит ее в конуру. Я сполоснула руки в бетонной колоде под водостоком. Ливень забарабанил по крыше, зажурчал по водосточной трубе, выхлестывая наружу, — надо бы отремонтировать водосток, подумалось мне, да где пайдешь мастера. Потому как желающих подрядиться на такую вот работу — мелкий ремонт, починку — днем с огнем не сыскать. Сколько раз я то одного, то другого просила

зайти ко мне: знай плечами пожимают, даже кто победнее и те нос воротят, часа свободного, вишь ли, не могут выкроить. А вот денежки получить за здорово живешь охотников много развелось. Работающего человека, такого, кто с душой бы брался за дело, почитай что и не встретишь. Если и подрядится какой ловкач, тоже добра не жди. Приставит лестницу к стене, влезет на крышу, прокопается наверху с полчаса, молотком постучит для отвода глаз, и там, глядишь, он уж и слез, тащится на угол, пивком освежиться; обратно придет — в затылке почесет и задаток просит, хотя работы ни на грош не сделано, у всех известная песня — завтра, мол, доделаю. Так лестница и стоит у стены неделю-другую, пока сама ее не уберешь на место, а работничка ищи свищи — унесла нелегкая.

Еще я пододвинула кадку к водостоку; пока добралась до дома, на мне сухой нитки не осталось. Тьма стусилась непроглядная, гром вдали погромыхивал; стояла ранняя осень, и дождь лил как из ведра, а все не по-летнему, не было в нем тепла, промозгло от него становилось, как в ноябре. Пожалуй, только раскаты грома да грозовые всполохи за горой и напоминали лето. Когда я захлопнула за собой дверь, гроза бушевала уже в саду. В доме полумрак. Одна из кошечек прижалась к моим ногам, принялась ластиться; брысь, пошла прочь, шуганула я ее, не ровен час наступишь тут на тебя в потемках. Ну конечно, это пестрый котенок, он у меня самый ласковый. Котенок прочь никак отходить не желает, встал на задние лапки и пу скрести когтями подол, возьми, мол, его на руки. Ладно, ладно, говорю, подожди хоть, пока свет зажгу... О девчонке я начисто позабыла, а она затаилась и сидит у окна на табуретке молчком.

— Чего ж ты сумерничаешь? — спрашиваю.

— Я не нашла выключатель.

— Да вот же он, на тебя глядит! — Обычно я пользуюсь только одной слабой лампочкой: пенсия по мужу невелика, вот и приходится экономить. — Вечер добрый, — сказала я, повернув выключатель. Я всегда, как свет зажигаю, говорю «добрый вечер», даже если в доме одна.

— Дождь какой... — Это девчонка мне. Сидит и сумку держит у ног, будто вот-вот уйти собирается.

— Дождь проливной! В такую непогоду из дома

не высунуться. Запochуешь у меня, постелю тебе на диване. Одна я теперь, сама знаешь, так что оставайся, живи у меня, сколько пожелаешь... Да отставь ты сумку-то в сторонку!

Дождевые потоки бежали по стеклам, гроза все не унималась, пу да пусть ее гуляет вволю, со двора у меня все прибрано. Я присела у печки, выдвинула ящик с дровами, наломала хворосту на растопку; тут и кошка-чернушка почуяла хозяйку, вылезла из своего угла, где козлиная шкура брошена, и с котенком на пару давай это возле меня круги выписывать, в руки тыкаться, мурлыкать, ластиться и о колени тереться.

— Налито вам молоко, чего еще надобно? Только и знают, что есть просить... Эдит! — окликнула я девочонку. — Выдвинь-ка из-под буфета миску кошачью, пусть полакают.

Она встала, но как-то неуверенно, будто и не знала, что такое буфет. Наклонилась, вытянула кошачью миску, а там, как я и думала, еще оставалась еда — хлеб, в молоко накрошенный, — кошка с котенком сей момент к миске повернули и принялись лакать. Я подсунула бумагу под хворост и зажгла растопку.

— Давай-ка и мы с тобой поедим. Суп остался от обеда, и яичницу мигом поджарю, — сказала я.

— Как у вас опрятно и порядок везде. — Эдит огляделась по сторонам. Она взяла с буфета начищенные до блеска медные весы с чашками и ступку. — Это мои старые знакомые, помню, как вы, тетя Веронка, брапили их каждый раз, когда чистили... — (Пестик был подложен под ступку, господи, как давно я ею не пользовалась! А на весах я теперь свои очки держала да разные коробочки с лекарствами.) — А в ящичках что? — Она подошла к стенному шкафу, стала выдвигать ящики один за другим. Принюхалась. — Ванильный сахар! — Сунула палец в порошок, попробовала на вкус. — Он самый!..

— Там же найдешь шафран и гвоздику. Все на своем месте, как и прежде.

— Только канарейки не стало.

— А ты и канарейку помнишь?

— Помню. Ее звали Манди.

— Верно! — И я тоже вспомнила старую нашу канарейку. А ведь последние годы и думать о ней не думала.

Я подкинула в печку сухих поленьев, огонь занялся вовсю, потрескивал, и дождя не слышно стало.

— Канарейка все склевывала какие-то ракушки. Мелкие окаменевшие раковины... Как они назывались?

— Ей-богу, не помню, — сказала я. Печка прогрелась, я поставила на плиту суп, а рядом — чугунный котелок, папарить картофельных очистков для кур.

— И клетки от нее не сохранилось? — спросила Эдит.

— Ну как же, куда ей деться? На чердаке лежит. Та канарейка погибла, а другую я заводить не стала. Покойный муж мой, а твой дядя Дюла, большей любитель был певчих птиц, из-за него и канарейку держали. Встанет, бывало, у клетки и давай подсвистывать, а канарейка подхватывает, заливается.

— Погибла, значит. — Эдит уставилась куда-то в пустоту перед собой. — Вот уж никогда бы не подумала.

— Не век же ей жить!

— Все равно не подумала бы. Собственно, я ведь и не вспоминала о пей никогда, вот только сейчас, когда посмотрела на это место, где клетка висела. Вот там ее клетка была, возле часов... А что, разве часы не ходят?

— Остановились, еще во время войны.

— Во время войны?

— Ну да. Переносили их в подвал, и, видно, что-то внутри у них сдвинулось, с той поры они и стоят. Ну, поздно разговоры разговаривать, давай на стол накрывать. Вишь, и тарелки наши прежние целы, узнаешь?

— Нет, не помню... — ответила она наобум, должно быть, мои слова мимо ушей пропустила. Я навела на столе порядок, даже скатерть постелила; обычно-то, когда я одна, только отодвину в сторону мешочки с цветочными семенами да яблоки-падалицу, так и поем на уголке, а тут и скатерть достала.

— У меня и паливка смородиновая припасена. С прошлого года стоит.

Эдит по-прежнему не обращала на меня внимания. Она опустила на низкую скамеечку у печи, и кошки расселись вокруг нее, поближе к огню.

— А калитка заперта? — вскинулась вдруг она.

— На задвижку закрыта.

— На задвижку, и только-то?

— Никто сюда не сунется,— говорю я,— хоть кличь-скликай...— Я расставила тарелки и рюмки. На сердце тепло было от одной мысли, что у меня в доме гости, давно ко мне ни одна живая душа не заглядывала. Разве что брат забежит иной раз. «Ну, как ты тут,— спросит,— Веронка? Скрипишь помаленьку?» А кроме него, больше никому.

— Вдруг к нам полезет кто! — Она даже с лица изменилась.

Я как раз разбила яйца на яичницу. Покосилась на нее, решила: шутит — и сама рассмеялась.

— Вот те на! Видать, начиталась страстей, а может, в кино насмотрелась?

— В кино? — Похоже, ей и впрямь было невдомек, о чем я. Сжалась вся в комочек. Пестрый котенок вспрыгнул было ей на колени и так напугал, что она вскочила, как подброшенная.

— Слышь-ка, что за напасть с тобой приключилась? Уж не захворала ли ты?

— Вот и вы туда же, тетя Веронка, все меня об одном и том же спрашивают!

— Бледная ты да худющая — страсть глядеть. Как живется тебе, не знаю, сама ты ничего про себя не рассказываешь. Не видишь тебя годами, потом мелькнешь случаем, не присядешь, не поговоришь, к поезду, видите ли, ей надо спешить... но сейчас тебе спешить некуда, все равно ведь не уедешь. Ты хоть работаешь ли где, не пойму я?

— Работаю... А почему вы не запираете калитку? Как можно оставлять открытой настежь?

— Да не настежь она открыта, говорено тебе, что заперта на задвижку. Кто и захотел бы войти, так не сможет.

А той, знать, беспокойные мысли сидеть не давали, вскочила на ноги и ну сновать из угла в угол, я едва успевала следом головой вертеть.

— Садись к столу, я суп разливаю.

Но ей все нейдет.

— Не стоит бояться их, сторонних-то людей,— сказала я.— Никому нет дела до других, всяк сам по себе живет.

— Ох, если бы! — воскликнула она и рассмеялась. Напугал меня этот смех, потому как не чувствовалось

в нем веселья.— Вы и не представляете себе, тетя Веронка, что творится на свете.

— А чему там твориться? Идет все, как заведено. Хотя бы меня взять, к примеру, мало ли я всякого натерпелась — две войны пережить, и перемены, и власти разные, а мне все ничего, живу себе и живу. Ну, будет тебе с ума сходить, иди садись к столу.

Я разлила по тарелкам картофельный суп, вкусный такой получился, с кореньями разными и сметаной заправлен. Эдит села, но к еде не притронулась. Я помешала ложкой в тарелке, подула, чтобы остудить, и принялась за хлебо. А сама думаю: может, и она разохотится, на меня глядя. Но Эдит ни в какую. Вытащила из сумки сигареты и враз задымила.

— Поглядите на нее: вкусный суп в рот не берет, а за свои вонючие сигареты хватается! — упрекнула я девочку.

Но она мои слова пропустила мимо ушей. Знай смолит табачищем, а рука у самой так и ходит ходуном. Я только тут и заметила, что пальцы у нее трясутся.

— Если бы и я могла так жить! — говорит она.— Чистота, порядок кругом, медная посуда сверкает, картофельный суп приправлен майораном...

— Вот и поела бы, коли тебе по вкусу! А то у самой ребра торчат, как у худой клячи, и руки вишь как трясутся.

Она поскорей убрала руки под стол, подальше от глаз моих.

— Я не работаю сейчас, — сказала она.

— Чем же ты занимаешься?

— Чем занимаюсь, спрашиваете? — Она подняла руку, затаилась сигаретой, щеки ее совсем запали от глубокой затяжки. Потом снова спрятала руки под стол, чтобы не видны были дрожащие пальцы.— Чем я занимаюсь! Наблюдаю. Наблюдаю и все сосредоточиться не могу. И это самое ужасное: столько всего нужно видеть и слышать. У меня полно заказов, но я не в состоянии работать. Я делаю эскизы плакатов...

— Разве ты не картины рисуешь?

— Нет, плакаты. Послушайте, тетя Веронка. Совсем недавно сделала я один плакат... — И замолчала, как осеклась. Я почти дохлебала свой суп, а ее остывал в тарелке.— Нет, вы только послушайте!

— Слушаю я, слушаю. А вот суп у тебя остынет.

— Представьте себе огромную такую мышеловку...
— Может, хоть яичницу поешь?
— Мышеловку, а внутри — большой грецкий орех.
— Должно быть, красиво получилось. — Я отставила прочь нетронутую тарелку с супом: наверное, не понравился. Успела уж позабыть, что из еды она любит.

— Красиво?! — Эдит схватила меня за руку. — При чем здесь красота! Страшно это!

— Отпусти руку, а то сало пригорит.

— Господи, да неужели вы не понимаете?! — Она с отчаянием смотрела на меня.

— А чего тут не понять? Большая мышеловка, а внутри орех. Так обычно и заряжают мышеловки, кладут для приманки орех, шкварку или просто сала кусочек... Прежде ты картины рисовала. Помнится, когда жила у нас, ты как-то даже сад наш нарисовала.

Растопленное сало зашкворчало на сковородке, а вылила на сковородку яйца; кошка с котенком почували вкусный запах и припались мяукать. Я приподнимала вилкой края, где прожарилось, хотелось, чтобы яичница получилась пышнее.

— Ты как любишь — пожире? — спросила я.

— Западня! — сказала она, не отвечая на мой вопрос. — Гигантская западня. Вот только не знаю, орех — этого достаточно? Подходящая ли это приманка? Может, надо было изобразить вместо ореха что-нибудь другое: эту кухню, к примеру, с ее начищенной до блеска медной посудой, с ее теплом и уютом. Или цветущий сад. Рождественскую елку. Или влюбленную пару, мужчину и женщину, идущих рука об руку...

Яичница доспела, я поставила сковородку на деревянную подставку, чтобы не повредить этернит на столе. Эту пластмассовую обшивку когда-то, должно быть, году в сороковом, сделали по заказу покойного мужа. Какой-то агент ходил по домам, предлагая этернит на кухонный стол. Этой вещи, мол, сносу не будет, уговаривал агент. Мы облюбовали пластину красного цвета. Она и сейчас еще как новая, вот только в одном уголке треснула. Я хоть и знаю, что ей сносу не будет, а все стараюсь обходиться поаккуратнее.

— Ешь, — говорю я Эдит. — Что-то никак я в толк не возьму, к чему ты клонишь с мышеловкой этой.

— Западня. Я говорю о громадной-громадной западне, куда все мы суемся по своей доброй воле. А иначе никак не заполучить этот треклятый орех.

— Невдомек мне, чего он тебе дался, орех этот. Ты лучше яичницу ешь, а то остынет! Одно я вижу: с тобой творится что-то неладное. Раньше ты мне куда больше правилась, когда картины свои рисовала. А ведь я тогда еще тебя остерегала: береги, девка, береги себя. Табачище курить да ночи напролет просиживать — до добра не доведет такая-то жизнь. Помню, еще отец твой в каждом письме показывал, чтобы не потакали тебе. Стала ты художницей — ну и ладно, сама захотела, никто тебя не nevoлил, хотя, по мне, уж лучше бы пошла в аптекари, как отец твой... Ну, хватит табаком дымить, ешь, пока не остыло. Желудок у тебя всегда был слабый, тебе бы о здоровье своем подумать. Поживи у меня с педельку, наберешься силенок, а окрепнешь, тогда ступай, куда тебе надобно. Всю семью пораскидало, но, уж раз ты сама ко мне пожаловала, я тебя приструню малость. Ешь давай!

Она неохотно поковыряла вилкой яичницу, начала лепиво жевать.

— Чего это ты там пережевываешь? Яичница пежней нежного, я в нее молочка подлила, сама в рот просится, тут и жевать нечего!

— Ах, тетя Веронка, не понять вам этого... Впрочем, так оно и лучше для вас.

— Чего тут особо понимать-то! Заказали тебе мышеловку нарисовать и орех внутри. Ты нарисовала, и дело с концом.

— Никто мне этого не заказывал. Но я все равно сделаю.

— Ну и ладно, рисуй, коли хочется.

— Каждому своя мышеловка. И вы тоже, тетя Веронка, сидите в мышеловке — вместе со своим садом, курами, кошками... по вечерам топите печь, ругаете медную ступку и дверную ручку, крахмалите занавески...

— Крахмалу, а как же! У меня всегда порядок, как заведено; так было десять лет назад и тридцать лет назад... Я себе поблажек не даю, хороша я была бы, вздумай распустить себя! Отродясь я этого не знала, чтобы сигаретами баловаться, строить из себя невесту что или сидеть сложа руки. Семьдесят третий

мне пошел, а я каждый божий день с шести утра на ногах, весь дом на мне, и никто мне не помогает. Ну как, вкусно?

— Вкусно.

Она разохотилась и ела теперь с аппетитом, даже тарелку кусочком хлеба подчистила. Я разлила по рюмкам смородиновую наливку, крепкая была наливка, с прошлого года настаивалась. Едва успела пригубить, как Эдит уже опрокинула свою стопку.

— Я закурю,— сказала она.

— Кури уж, что с тобой делать!

А сама собрала со стола грязную посуду, смела крошки. Дождь как зарядил, так и лил беспрестанно, по стеклам прямо потоки текли.

— Постелю тебе на диване, там, где ты раньше спала, ладно?

Она кивнула.

— Вы побудете со мной, пока я не усну?

— Раньше полуночи я все одно не ложусь,— говорю ей.— Нам, старикам, много сна и не требуется.

— А вы посидите рядом со мной... пока я не усну?

Я так и обомлела.

— Послушай,— говорю,— что это за дурь на тебя нашла?

— Страшно мне...

— Что калитка не заперта, оттого, что ли, страшно?

— Сюда могут прийти, и...— Она осеклась.

— Будет глупости-то городить! А может, ты натворила чего?

— Нет,— отвечает она,— что вы, тетя Веронка! В том-то и беда, что я ничего в жизни не сделала. Или сделала плохо. Сама не могу разобраться.

— Чиста у тебя совесть или нет?! Если совесть чиста, чего тебе бояться! Преступники, те боятся. Ну и пусть их боятся, поделом им!

— А кто это — преступник? — Девчонка уставилась на меня, и вижу, в глазах у нее отчаяние.— Тетя Веронка, скажите мне, кто такой преступник? И кто может сказать, чиста ли моя совесть?

— Ово, положим, верно: все мы не без греха,— поддакнула я ей.

— Правда?! Не без греха! — ухватила она за мои слова.— Но ведь это неправильно! Нельзя грешить безнаказанно!

— Так не бывает, чтобы грех остался без наказания, — говорю я. — Не здесь, так на том свете, но каждому воздастся по грехам его.

— Да никакого того света не было и нет! — перебила она запальчиво. — У человека только одна жизнь. И оказывается, любой грех может остаться безнаказанным. Вот чего я боюсь. Что не придут...

— О ком ты это? — Я вышла из терпения. Девчонка совсем задуррила мне голову, и я теперь уж ни слова не понимала из того, что она говорит.

— Не знаю. В том-то и беда, что я сама не знаю. Боюсь я, что не придет... или не придут...

Я попыталась привести ее в разум:

— Разве не ты сама твердила, будто боишься, вдруг, мол, придут? Или что кто-то один придет?

— И этого я тоже боюсь. Боюсь, что не придут и не призовут меня к ответу, и боюсь, что придут и за все спросят. Ну пожалуйста, тетя Веронка, посидите рядом, пока я не усну. По-моему, я теперь разговариваю во сне, так что вы не пугайтесь. А может, мне лучше сразу уйти...

— Еще чего выдумала! — говорю. — Погода такая, что добрый хозяин собаку не выгонит. Да и на поезд ты опоздала, куда же на ночь глядя идти?

Она вскочила и принялась завязывать тесемки сумки.

— Да-да, конечно, так правильной будет — сразу уйти. Нет никакого смысла отсиживаться тут. Нелепо пытаться сбежать, все равно меня найдут, так что честнее будет самой выйти навстречу. Несколько дней отсрочки не спасут...

— А я говорю — перестань дурить! — прикрикнула я на Эдит в сердцах и выхватила сумку у нее из рук. Должно быть, я сильно рванула, все ее пожитки вывалились на каменный кухонный пол: туфли, книги, зеркальце... Эдит присела на корточки и принялась запихивать барахлишко обратно в сумку.

— Здесь все мое имущество, — сказала она. — С той квартиры, которую раньше снимала, я ушла навсегда.

— Выходит, у тебя и угла своего нету? А что же случилось с прежним твоим жильем? Такая шикарная была квартира, и не чья-нибудь, своя собственная!

— Ушла я оттуда...

— Да-а, пемпоного же ты добилаcь в жизни! Не зря у отца твоего душа за тебя болела. Да и дядя Дюла, помнишь, сколько раз твердил тебе: не упускай своего счастья, Эдит, не растрачивай себя попусту... А ты как была недотепа, так и осталась!

Она перестала заталкивать барахлишко в сумку и посмотрела на меня: глаза у нее были какие-то шалые.

— Недотепа? — Я было испугалась, уж очень диковатый был у нее взгляд, но тут Эдит расхохоталась. — Квартира была шикарная, это верно. Две комнаты, и обстановка что надо. Но мне, видите ли, хотелось большего. Чтобы квартира была просторнее и находилась в Буде. И обязательно с террасой или с застекленной верандой, чтобы вид живописный открывался. Я могла бы себе это позволить — купить такую квартиру. Денег у меня было навалом, мне хорошо платили за те картины... Но тогда пришло это... — Она сразу вдруг помрачнела. — Пришел этот страх. Что рано или поздно с меня спросят, призовут к ответу.

— Кто призовет-то? Закон, что ли?

— Закон тут ни при чем! Все делалось по закону и по правилу, и тем не менее я чувствовала себя преступницей... — Эдит подошла к окну, резко повернула обратно, бестолково закружила по комнате, точно места себе не находила. — Я стою посреди Земли, — продолжала она, — и жду, что будет. Заговорят со мной? Или мне заговорить первой?.. Каждый молча наблюдает за другим: пусть, мол, делает что угодно, мое дело сторона... — Эдит остановилась, прижала ладони ко лбу. — Прямо не знаю, что же это такое творится! Какое-то предательство. Мы хотим заполучить орех, а западня тем временем захлопывается втихомолку.

Она со стоном упала на стул, вся поникла, сжалась в комочек. А я смотрела на нее: господи, какая худышка, кожа да кости! Муж мой покойный всегда говорил, что у таких худых людей обязательно бывают слабые нервы. И про Эдит он говаривал в те поры, что, должно быть, нервы у нее никудышные.

— Ложись-ка ты, девка, спать, — сказала я тихо. — Отдых — вот что тебе перво-наперво требуется.

Она все так же сидела и стопала.

— Перестань ты терзать себя! — говорю ей. — Какого ты совета ждешь от своей старухи тетки, когда я

и в толк-то не возьму, о чем ты говоришь! А только одно я тебе скажу: негоже этак-то казнить себя, не то вконец изведешься. Ежели работа тебя доконала, значит, работу надобно подыскать другую. Трудиться человек должен с охотою — это главное. И раз ты ни в чем закона не преступила, значит, тебе и бояться нечего. А вот работа всегда должна быть на первом месте. Возьми хоть меня, к примеру: я тоже всю жизнь работала не покладая рук, с одним делом управилась, а сама смотришь, за что дальше браться, и передышки себе не даешь ни на минуту. Как в огороде все переделаю и живность свою обихожу, то за штопку или починку белья принимаюсь. Человек должен делом себя занять, а не забивать голову ерундой разной. Замуж тебе пора, детишек бы нарожать и жить как положено...

— А как положено? — вскинула она на меня глаза.

— Как все люди живут! — У меня лопнуло терпение. — Как твои родители жили, как мы с твоим дядей Дюлой жизнь прожили. Уж и не знаю, чего тут объяснять!

— Пойду я, — заявила она и встала.

Я чуть затрепичу ей не влепила: против истерики первое средство.

— Тогда зачем ты явилась, если часу побыть не желаешь? — вырвалось у меня сгоряча.

Эдит стояла передо мною, и я видела, как глаза ее наполнились слезами. Жалко мне ее стало.

— Я помнила, что у вас мне было хорошо... Здесь мне всегда было так легко!

— Э-э, милая, это когда было... — сказала я и сама расчувствовалась, припомнив прежние годы, когда муж мой был жив; Эдит тогда жила у нас, ходила в здешнюю школу. Своих детей у нас не было, и какое-то время мы жили одной семьей, Эдит нам была как родная дочь.

— Ужинали мы в саду под яблоней... Я собирала смородину с кустов, мыла у колодца, а потом мы посыпали ее ванильным сахаром.

— Вишь ты, как тебе все хорошо запомнилось! — сказала я, чуть успокоившись. — Вот и останься у меня хоть на несколько дней, обо всем с тобой потолкуем, старое житье вспомним. Идем, постелю тебе...

Она кивнула. Я прошла в комнату, достала из шкафа чистое белье. Дождевые капли барабанили по стеклу, гроза, правда, утихла, но дождь, похоже, перешел в обложной. Завтра, пожалуй, и в сад не выйдешь. Ну ничего, достану шкатулку с фотографиями, и будем с ней разглядывать старые снимки. Найдём себе какое-нибудь занятие. Я постелила ей на диване; у простынь был чуть лежалый запах, его даже лавандой не отобьешь. Я распахнула окно, пусть комната проветрится на ночь.

— Эдит! — крикнула я. — Иди в комнату! Ты только взгляни, как цветы разрослись! — Я помнила, что прежде она очень любила цветы, а у меня ими всегда была комната заставлена: аспарагус, фикус, пальма, филодендрон, дерево жизни, кактусы разные — и на столе, и на специальной подставке, и даже на шкафу стояли. — Эдит, слышишь, что говорю?

Никакого ответа; я вышла в кухню. Наружная дверь была распахнута настежь и хлопала на сквозняке, ветром захлестывало дождевые струи, у порога натекла целая лужа. Эдит и след простыл. Кошка с котенком кинулись ко мне, принялись ластиться, а пестрый котенок подол царапает, на руки просится. Сумки ее тоже нигде не видать было. Я встала в дверях, окликнула ее несколько раз, да так и не дождалась ответа. Долго стояла я, все звала ее, а дождь поливал мне на голову и плечи.

Потом уж я отступилась и дверь за собой захлопнула. Вода от порога растеклась по каменному полу. Я подтерла лужу тряпкой. Кошка с котенком, отталкивая друг друга, лезли мне под руку. Брысь, пошли! — шуганула я их тряпкой. Они отскочили в сторону, обиженные, улеглись у печки на козьей шкуре и стали вылизывать друг другу шерстку.

Когда я кончила вытирать пол, они уже спали, уютно прижавшись друг к дружке.

Я постояла еще какое-то время на кухне, подождала: вдруг да вернется Эдит.

И надеялась: сперва — что она вернется, потом — что ушла совсем.

Она не вернулась.

1972

Чужой на горе

Гляжу — стоит он у нас на дворе, в самом углу, там, где бы забору быть, только у нас его нету, тихонечко так стоит, не шелохнется, одна рука в кармане, другая плетью висит, будто простреленная, спиной ко мне стоит, левое плечо стволом ореха прикрыто, и одежда-то на нем серая такая, с корой сливается, к тому же смеркалось, ладно еще, глаз у меня острый, сразу его заприметила, хоть и стоял он как вкопанный, высматривал что-то там наверху среди деревьев и базальтовых скал, — в общем, я сразу смекнула, что оп и есть тот самый человек. Кому и быть-то, как не ему. Я как раз от колодца возвращалась. Далековато это, да еще в гору, да с полным ведром, вот и запыхалась — тяжело нынче стало подниматься от колодца Банов к дому, однако тяжело не тяжело, а по воду ходить надо; мы-то, когда дом тут отстроили, стали было колодец бурить, потом и трубу ту испробовали, которую нужно только в землю вбить, и даже сквозь камни она проходит, а воды все нет и нет, так что бросили мы через месяц эту затею. Остался колодец Банов, там, у нижней дороги. Ну, только я его увидала, сразу поняла: он и есть тот самый человек. Увидала и будто к земле приросла, даром что на своем дворе, да и не стемнело еще, а только смеркалось, потому как осенью в такое ненастье смеркается рано. Вообще-то я женщина не робкого десятка, привыкла тут, на горе, не пугаться всякого захожего люда, только о нем, об этом-то, уж столько всякого наслышалась, что подумала: не ровен час, набросится еще на меня. Поставила я ведро на камни у края виноградника — так, чтоб погромче звякнуло, и гляжу, нет ли где под рукой доброго кола, на случай, если человек этот злодейство какое на уме держит.

Тут он повернулся, услышал стук ведра-то.

Хотела я у него спросить, кого он ищет, хоть и знала, что искать тут ему некого, но все же так и подмывало спросить, да только не смогла я; обессилела вдруг, то ли от подъема, то ли с перепугу, бог знает, сердце колотилось, язык к пёбу прилип. Он повернулся, отступил чуть назад, за дерево, но потом перешагнул через выдавшийся из земли корень и подошел поближе. Лицо у него было не злое, худощавое, вроде как у деревенского учителя, смиренное такое лицо, ни бороды, ни усов, и волосы тоненькие, из-за них он мне еще беззащитнее показался, однако в поведении его я все-таки почуяла недоброе. Рука была все так же в кармане, будто там оружие какое, нож или еще что. Собаку нашу летом машиной задавило, тоже все бродяжила, только шкура и была на уме, занесла ее не легкая на дорогу, вот и угодила под колеса, с тех пор живем без собаки. Потому, будь у нас собака, не ошибался бы он здесь так вот запросто. Стоим мы друг против друга, а я глазами на дверь кошу, может, он уже и замок взломал, и в дом наведалься, а теперь вот меня дожидается — видел, наверное, что я к колодцу пошла. Дверь-то перед уходом я заперла, и ключ, тут он был у меня, в кармане передника; с тех пор как пошли разговоры, что этот тип слоняется у нас на виноградниках, я запираю стала, даже если вот так, на минутку, отлучаюсь. Говорят, после сбора винограда его частенько видели возле погребов, иногда он даже устраивался на ночлег в какой-нибудь давяльне: есть тут на горе такие, что только стены да худая крыша остались — в них он и ночевал, а ел, что на земле найдет: орехи грецкие, миндаль, груши; однажды оставил на камне четыре форинта, чтобы сторож принес ему сигарет; в записке никаких таких угроз не было, но сторож все же испугался, не сказал никому ни слова, пока не принес ему пачку сигарет из лавки. Потом уж рассказывал, что на бумажке все было честь по чести; будьте, мол, любезны, и все в таком духе. Говорил еще, что порядочный будто человек, только с ним какая-то беда стряслась; сам, мол, видел, как он расхаживал однажды целый вечер возле Каменного креста, руки за спину, а то размахивал ими, будто спорил с кем. Ну, насчет порядочности пусть мне не рассказывают. Знаю, как оно бывает. До поры до времени человек порядочный или, скажем, при случае

порядочный, а придет час, так он порядочность-то свою псу под хвост.

Посмотрела я на дверь, вижу, не похоже, что оп в пей ковырялся, вроде все так, как оставила. На корзину глянула с яблоками, что после обеда насобираала, стоит у стенки нетропуаая, ну, думаю, пе успел ты, мил друг, ничего! А что тепеь-то мне с тобой делать? Может стаься, не воровской он породы человек, а иной какой, может, другие грехи за ним водятся, вот и прячется, только веь мне все равно, грешен оп или нет,— порядочный человек не будет педелями по виноградникам шатаься, по давиьням рыскаь да на ноь глядя в чужие двory нос совать. А и сунет, так хоть скажет что. Эаот же все молчит.

— Дайте напиться,— говорит он мне вьруг.

Я и не видала, чтоб он рот раскрыл, только голос услышала: такой был голос, будто не из-под ореха, а из ямы какой доносился. Ну, думаю, лукавый это человек, у него и голос педобый.

— Кружки нет,— отвечаю я. И тоже вьре не своим голосом. Даже зло разобрало, что сама не своя из-за него сделалась.— Чего вам тут наьо? — спрашиваю, уже обычным своим голосом.

— Ничего,— говорит,— мне бы только напиться.

— Колодец вьнизу, вон там.

— А эта дорога, что в гору, куда веьет?

Он кивнул на вершину холма, где лес. А то ты не знаешь, подумала я. Веь тебе все здесь известно. Ты уж и там и сям побывал с тех пор, как шатаешься тут на виноградниках. Разве тебе то интересно, куда дорога веьет? Знаю я таких. Когда война была, солдаты сюда заходили, тоже все выведывали, а только не то вьвсе, о чем спрашивали. Да и кроме солдат, и кроме тебя, довелось повидать людей, которые такие все вьпросы задавали, что и ответов не слушали. Скорей бы уж сын вернулсь, подумала я. Но сына жьать было еще рано. Даже если автобус, па котором обычно оп приезжает, уже остановился там вьнизу, у корчмы на площади, то пока сын подымеься наверх, это добрая четверть часа. К тому же грязно па склоне, скользько. А у этого и ботинки чистые. Где ж это он ходил, что и грязи к ним не пристало?

— Это базальтовый карьер там? — спрашивает он, все поглядывая на вершину.

— Там уже не карьер, — говорю ему.

— А что?

— Охотничий домик, — отвечаю. Едва я это сказала, тут же и спохватилась. В эту пору заезжих гостей там уже не бывает, только жена коменданта с двумя ребятами. Одни они там. И домов нет поблизости, только каменное здание — охотничий домик то есть, больше ничего. А этот возьмет поднимется туда, да и прикончит их. Вон она какая щупленькая, эта жена коменданта Богара. И дети — одному три, другому семь.

— Собаки там, — говорю я ему. Хотя собак там нет. Не держат из-за гостей. Нехорошо, надо бы им несколько брехливых кобелей завести. Вон и мы без собаки остались. А сын, где он, может, еще и автобус не пришел? — Скоро сын придет, — говорю я, — он тут, по соседству. Никак он идет... — Я прислушалась, сделала вид, будто что-то услышала. Потом подняла ведро — не стоять же мне здесь до скончания века. — Уже идет, это его там шаги, — сказала и понесла воду к дому, а сама смотрю, что он будет делать. Он не делал ничего, все так же стоял под орехом.

— Так дадите напиться? — спросил он потом.

Я ничего не ответила, с оглядкой достала из передника ключ и отперла дверь, так, чтобы он не заметил, как ключ вставляется. Сын приладил на дверь второй замок, поставил его, чтобы в обратную сторону открывался, вот я и не хотела, чтобы этот человек видел, в чем тут хитрость. Но он, кажется, и не подглядывал. Прислонился к ореху, рука все еще в кармане, привалился к дереву, будто собирался навек там остаться. Ну, думаю, и хорошо: похоже, к охотничьему домику он пока не торопится. А лучше ему и вовсе туда не ходить. У меня хоть совесть будет чиста. Я ведь туда и подняться не смогла бы, чтобы предупредить. И никому в округе сообщить не успела бы. Ни соседям, ни в полицию, никуда. Пока я доберусь до кого-нибудь, он уже прикончит их там наверху. Что ему стоит прикончить немощную женщину с двумя мальцами. Домто, может, и не обворует, к тому времени и сын мой подоспеет, расправится с ним, да и людей позовет. Только ведь мертвым от этого какая утеха.

Вошла я, поставила ведро; в доме было уже темно-вато, окно-то у нас маленькое, стала гадать, как быть, зажигать ли свет. Да и огонь разводить пора, ужия

готовить, сын придет, как всегда, голодный, а он у меня мужчина дюжий, ест за троих, и силушкой бог не обидел, уж лучше бы этому человеку не попадаться ему на глаза. С тех пор как ушла невестка, вернее, с тех пор как сын ее выставил, мы с ним вдвоем живем. Я по невестке не скучаю, нам и вдвоем неплохо, сын у меня парень хороший. Я ему не говорю, что невестку не жалко, и прежде никогда не говорила. Когда он ее привел, я тоже не сказала против нее худого слова. И пока жила здесь, ни разу. А когда он турнул ее, так я только и сказала: не тужи, сынок. Не тужу я, говорит он мне, чтоб у ней руки-ноги отсохли. Я ему: не говори так, бог тебя накажет; господь бог, он с нее еще спросит за ее-то грехи. А он заладил свое: чтоб у ней руки-ноги отсохли... Уж очень подло она обошлась с моим сыном, дрянь эдакая. Но с тех пор он ее и не поминал больше. Я, конечно, стараюсь, чтобы он не кручинился, знаю, как ему мутрно. С того времени ему житья нет, еще бы: так осрамить перед народом. Мы хоть и не говорили никому, все равно люди знают, почему невестке так скоро пришлось уйти из нашего дома.

Во дворе вроде что-то зашевелилось, смотрю, этот человек уже на козлах примостился, рядом с колодой, на которой дрова рубят,— мне как раз видно было через открытую дверь. Как бы его сюда нелегкая не принесла, подумала я. Выпюхает, что в доме есть, ведь эдакий разбойник и у нас найдет чем поживиться: сын вон деньги скопленные в шкафу держит; и чего штатнов этих в полицию не забирают? С виноградного сбора тут бродит, и ведь ни одному полицейскому не приходит в голову взять его за ворот. Вон и сторож уже говорил о нем участковому уполномоченному, а тот только спросил у старика Суроми, у сторожа, где он сейчас. На винограднях, говорит Суроми. Ну, виноградняки большие, отвечает участковый. Вот и весь разговор. Чуть было сам сторож и не поплатился: зачем, мол, сигареты ему из лавки послал. Испугался, вот и понес. А ведь у полицейского и оружие имеется, и подкрепление вызвать может. И все-таки он только один вопрос задал: где он теперь? Будто не он работает в полиции, а Суроми.

Ладно, решила я, дам ему папиться, раз ему так хочется, и пусть убирается. Он прямо схватил у меня из

рук кружку, я даже отскочила с испугу. Выпил все до единой капли. Потом как-то весь передернулся, протянул мне кружку. Смотрю, на рубашке у него ни одной пуговицы. Грязная цветная рубашка была, но сидела на нем аккуратно, и одежда вся была, можно сказать, в порядке, а с ботинок, я заметила, он грязь-то камешком или еще чем соскреб. Соблюдал, видно, себя человек, пока не дошел до бродяжьей жизни. Это меня немного успокоило, однако доверия к нему ни капли не прибавилось. Стара уж я, чтобы всяким проходивцам доверять.

— Знобит меня,— говорит он мне все таким же, будто из погреба, голосом.

— Ну, напился, что еще надо?!

— Знобит меня,— говорит он опять и смотрит мне прямо в глаза.

Хотела я ему сказать, чтоб катился своей дорогой, да спохватилась; как знать, куда он отправится, еще натворит где чего — поднимется к охотничьему домику, беды не оберешься. Зачем мне грех на душу брать. Теперь уж и сын вот-вот подойдет. А до тех пор нельзя мне отпускать этого человека. Раз уж полиция не могла его взять, пусть сын с ним разберется. Я за сына не беспокоилась, что ему сделает такой доходяга?

— Сейчас затоплю,— говорю ему,— зайдете погреться.

Он уже было сполз с козел, но я на него прикрикнула:

— Я позову, а пока тут сидите.

Он покорно уселся на место; выпив воды, он больше не убирал руку в карман, и я посмотрела, нет ли при нем оружия; похоже, оружия не было — тоненький серый костюм облегал его довольно плотно.

— Ладно, ждите,— сказала я и пошла в дом, но дверь за собой не затворила, чтобы не терять его из виду.

Я зажгла лампу, растопила печь и поставила воду для картошки; делала все не спеша, хотя и следовало бы поторапливаться, ведь сын, едва в дом войдет, сразу есть просит, такой у него аппетит. Сын у меня мужчина крепкий. Его по отцу Михаем звать, так мы его Мишей или там Мишкой никогда не называли, он и в детстве, еще пацаном, эдакий Михай был — мужик, и все тут. А когда отец погиб при взрыве в базальтовом

карьере, Михай пошел на его место, каменотесом. Булыжники для мостовой тесал, пока карьер не закрыли. Оттуда и силища эта его. Невестка-то думала, у него только сила, а ума пи капли. Думала, обведет его вокруг пальца. Потому как тот тип, что ребеночка ей соорудил, от нее удрал; я, конечно, не говорю, что он правильно сделал, сын ведь мой от этого пострадал, но по своему расчету умно поступил, что смотал удочки, как только раскусил лживую эту бабенку. Она-то и всегда лживой была, не иначе. Только мошенница на такое способна, чтобы с чужим ребенком в животе женить на себе порядочного человека, сына моего. По ней и не видно было ничего. Даже того, что брошенная. Сын с ней в Таполце познакомился, она работала при каменщиках, там же, где Михай. Не заметно было по ней ничего. И грустить не грустила, наоборот, все тянула Михая то на танцы, то в кино, то еще куда. Только о том и думала. Вскружила она Михая голову своими попрыгушками. А во чреве-то ребенок от другого. Вот она и устроила, чтобы свадьбу сыграть поскорее. И месяца с ним не ходила. Ну а потом, когда уже здесь жили, стал у нее живот расти. Смотрю на нее, удивляюсь, как она быстро тяжелеет. Что ж, думаю, у одной так, у другой эдак. Может, порода такая. Рано заметно. Я про нее и слова дурного не сказала. Только не по душе мне было, что Михай ей во всем потакал. Мили нравится то, Мили нравится се. Ее Мили звали. Уж и не знаю, что за имя такое — Мили. Мне и это не по душе было, но я ее не трогала. Он ее уже и на работу не пускал, умом чуть не тронулся на радостях, что у Мили живот растет. Я еще какое-то время успокаивала себя; мол, всяко бывает. Но потом живот стал расти слишком быстро, а сын-то, дурачок мой, и не ведал, что так быстро расти не может. Знай твердил: будет у вас внук — да еще: наш сыночек, наш сыночек... А я про себя подсчитывала, сколько же времени они знакомы. Может, дольше, чем я знаю. Спрашивать, однако, не стала, пусть, думаю, сами разбираются. Считать все умеют, сын мой тоже. Потом-то уж и он смекнул, что шести месяцев маловато, чтобы родился здоровый ребенок. Потому как родился он через шесть месяцев. Через шесть месяцев после их знакомства. Вот тогда-то все и затрещало, небо само на нас обрушилось.

Хвати его обухом по голове, Михай и то легче бы перенес. Да и я чуть не померла от сыновнего позора. Чтоб у ней руки-ноги отсохли, вопил он и плакал, хотя прежде я у него слез не видала. Знать не желал больше дрянью эту, с ребенком ее вместе. Ничего не хотел, только ломал и крушил все вокруг, и я не смела ему перечить. Стали соседи отовсюду наведываться, покажите, мол, внучка. Я им говорю, Мили поехала к матери, там ей с маленьким лучше будет, а то ведь у нас ни воды нет, ни комнаты подходящей, а они все Михая разглядывали, из-за него и приходили, знали, что молчать надо о случившемся, но все же хоть посмотреть на него хотелось. Узнать, как выглядит человек, когда на него такое обрушивается. Прослышали ведь люди о том, что у нас стряслось, люди-то завсегда все слышат, все видят, про все знают. У них и на лицах было написано: слава богу, хоть не в нашем доме приключилось такое. И во вздохах их было то же самое. Что верно, то верно, младенцу там лучше, кивали они. И делали вид, будто не знают правды. И мы тоже делали вид, будто не знаем, что они знают. Потом Михай отправился к адвокату; ему даже на процессе не пришлось быть: спорить-то было не о чем, закон признал, что сын прав. Поначалу вроде Михая велели явиться в суд, но он сказал, что за себя не ручается и, ежели потаскуха эта попадется ему на глаза, убьет он ее, придушит, из рук своих живой не выпустит. Ну, адвокат за хорошие деньги уладил, чтобы сыну-то не идти. Словом, просидел он дома, так и трясся весь от обиды. Тому уж год, как это случилось. Даже чуть больше.

Как я с огнем ни медлила, он все-таки разгорелся, человек на козлах поглядывал в мою сторону, будто собака, которую отогнали от порога. Все же у него хватило порядочности дожждаться, пока я его позову. В чугушке уже кипела картошка; я мелко порезала лук, бросила его на сковородку; запах жарящегося лука вырвался во двор. Человек беспокойно заерзал. Проголодался, видать, подумала я, а коли проголодался, так не уйдешь отсюда, хотя бы пока еда не поспеет. А к тому времени сын уж обязательно будет здесь.

Стемнело порядком, и мне его было плохо видно, я только чувствовала, что он все еще сидит на козлах.

Теперь уж он пикуда не денется. Все идет своим чередом. Я обжарила сало; из-под крышки чугунка повалил пар, я сняла с огня картошку, вышла, сдедила воду на землю, недалеко от порога, а сама на незнакомца кошусь. Здесь, вблизи, еще можно было различить в полумраке его фигуру; он совсем съежился, обхватил грудь худыми руками, да так, что они едва не сошлись у него на спине, и весь дрожал. Я уже стала привыкать, что он здесь, и вообще смотрела на него не как на человека, а как на бродячего пса: не знаешь, бешеный он или нет, вот и посматриваешь с опаской, а придет время, бросишь ему кусок. Да он, сидя там, на козлах, и не похож был на человека.

Только я хотела вернуться в дом, как услышала издали, наверное со двора Банов, протяжный лай. Значит, Михай уже на пути к дому. Я оглянулась на припелыца, не вздрогнет ли он при этом звуке, но он сидел так же, скрючившись, и дрожал. Я вернулась в дом; картошка хорошо проварилась, кожура растрескалась, я почистила ее, размяла вилкой, ну, думаю, надо выйти навстречу сыну, сказать ему про этого человека.

— Михай? — окликнула я его в темноте. Слышно было, как на дороге скрипит щебень под его башмаками; он остановился.

— Мама? — сказал он вместо приветствия, ни громко, ни тихо, а как обычно. И опять зашагал, а я пошла ему навстречу, однако и с чужака глаз не слускала. Тот ни на что не обращал внимания, все смотрел в кухню. Через открытую дверь свет керосиновой лампы доставал как раз до его туфель.

— Михай,— говорю я сыну, не шепотом, а так, чтобы только ему было слышно, а до того человека не очень доходило.— Михай,— говорю,— тут человек один.

— Человек? — переспросил он и, верно, очень уж удивился, как если бы я сказала ему, что сам Иисус Христос к нам пожаловал. К нам ведь обычно никто не заглядывает, тем более вечером, днем-то еще, бывает, заходят: из сельского совета — записать, сколько вина надавили, или уж совсем изредка почтальон, ну а вечером — никто, никогда.— Человек?

— Тот, что по виноградникам бродит,— говорю я сыну. И тут же за руку его ухватила; сразу почувствовала, по тому, как он круто мимо меня шагнул,

что он того и гляди бросится на чужака.— Постой,— говорю,— ничего такого не случилось, просто я тебя дожидалась.

— Где он, гад?

— У колоды. На козлах.

— Гад такой! За бабами охотиться?! Старух грабить?!

— Да ничего он худого не сделал.— Я уцепилась за его руку, чтобы он не бросился на незнакомца, так впилась, что чувствовала, как колотится сердце у него в груди; мышцы его налились, дохнуло запахом табака и потного тела.

— Постой,— говорю.— Позовем его в дом, а потом людей кликнем.— Пока сына не было дома, я ждала его, не могла дожждаться, но теперь, когда он был здесь и я ничуть не боялась того человека, мне подумалось, что не след нам одним припиматься за это. Только с другими, все вместе. С Бапами, с соседями их, Ти-боллами, и остальными соседями-виноградарями, потому что, если сладим что в одиночку, может, выйдет не так, беда будет.— Позовем его, ты покараулишь, а я за людьми сбегая.

— Я и один с ним справлюсь, незачем людей собирать.

— Нельзя одним,— говорю ему,— нужны свидетели.

Тут он мне уступил. Пока мы говорили, я все на чужака посматривала, он сидел не шевелясь, весь скрючившись, и смотрел на свет. Когда мы подошли, он даже не повернулся в нашу сторону.

— В дом ступайте,— сказал ему Михай. Теперь уж пусть сам с ним беседует, решила я.— Не слышите?! — прикрикнул Михай. Только тогда человек спустился с козел, передернулся, потом отряхнул сзади брюки, точно это теперь было так уж важно. Он посмотрел на сына. Не знаю, что он в нем так разглядывал: скуластое лицо, черные глаза, насквозь пропотевшую рубаху с закатанными на крепких руках рукавами или наброшенную на плечи кожаную тужурку, а может, перепачканные штаны или грязные башмаки? Посмотрел он на сына, потом опять содрогнулся весь и двинулся к свету. Прошел по освещенной полоске земли и у двери остановился. Точь-точь как собака, которую обычно не пускают в дом и она, прежде чем войти, ждет, чтобы ее еще раз позвали.

Сын кивнул мне, чтобы я шла вперед, потом было вошел следом, но передумал, да как рыкнет на незнакомца и впрямь как на собаку. Тот боком проскользнул в дверь, опять передернулся, сложил руки на груди, будто священник, и замер. Михай бросил кожан на скамью и, точно человека того вовсе не было, подошел к тазу с водой, который я загодя приготовила, ошолошил руки, потом обошел стол, сел и уронил руки перед собой. Чужак все стоял. Я разложила картошку в три тарелки, сдобрила обжаренным в жире луком, сверху добавила сала, сыну самый большой кусок, незнакомцу — чуть поменьше; поставила перед ними.

— Садитесь, — говорит ему Михай.

Тот не знал, куда ему сесть, но по тарелкам разобрался. Подтянул стул, сел; руки его свесились вдоль туловища, глаза закрылись, похоже, совсем обессилел, потому что, когда сын рывкнул — ешьте, мол, ложка так и прыгала у него в руке. Я тоже села с ними к столу и, обождав сына, принялась за еду. Оба мы наблюдали за незнакомцем. Сейчас, сейчас я пойду, думала я, надо же сказать соседям, но это я только так, про себя подумала, а сама вовсе и не спешила и все присматривалась к тому человеку, а он после первой ложки так и набросился на картошку; теперь он казался мне просто несчастным, а вовсе не бродягой, с которым нужно расправиться; только тут я заметила, какое красное у него лицо. Скулы так и пылали. Михай вытер тарелку коркой и протянул мне за добавкой. Я опять положила ему на картошку большущий ломоть сала. Подрезала хлеба. Вернулась к столу, снова посмотрела на скулы незнакомца, на ввалившиеся глаза и говорю:

— Приготовлю-ка я чаю.

Человек встрепелся. И такие у него вдруг стали глаза, будто у ребенка, когда угостишь его конфетой. А Михай и говорит:

— Ни к чему это. Ступайте уж. У вас дело есть.

Может, человек тот и не понял, про что говорил Михай. А может, ему было все равно. Он хотел что-то сказать, наверное, насчет чая, что не отказался бы, тогда ведь я уже поняла, что он болен, потому и квелый такой, что болен, тут у меня и вовсе страх пропал, я смотрела на него уже как на человека, которому помочь нужно. Он, бедолага, хотел сказать на-

счет чая, но Михай о чем-то спросил его, так что с чаем ничего не вышло.

— Что вам тут нужно в наших краях?! — вот что спросил у него Михай.

— Ничего, — ответил он странным голосом, да я-то знала уже, что странный он из-за хвори его. — Ничего, — повторил человек.

— Что вы мне тут ничевокаете! — прикрикнул на него сын. — Как положено отвечайте, коли спрашивают. Как это ничего, когда всем известно, что вы давилъни взламываете. Чего тут рыщете?

— Я давилъни не взламываю, — сказал чужак; он уже не ел, да и посмел бы он теперь есть?

— Нечего врать-то!

Тут человек тот взглянул на Михая, но уже не так, как бродячий пес. Человеческий взгляд был.

— А что вам у нашего дома понадобилось?

— Лихорадит меня, — проговорил он помолчав. — Нездоров я.

— Нездоров?! — растянул губы сын. — Эк заливаает-то!

Тут он распрямился на стуле и, вставая, выбил его из-под себя ногой, потом подошел к ведру, зачерпнул воды и долго пил. Кружка громко звякнула, когда он ставил ее на место.

— Заливает-то как! — Он обтер губы рукой. — Может, еще и пожалеть его?

— Кажись, он и вправду болен, — сказала тогда я. Сын сверкнул на меня глазами.

— А вы ступайте, делайте, как решили. Уж скоро ночь.

Я встала. Чему быть, того не миновать, подумала про себя. Нельзя же, в самом деле, чтобы он тут разгуливал. В охотничьем домике вон жена коменданта одна с двумя ребятишками. Да и человеку этому лучше будет.

— Ну, я пойду.

— Я тоже пойду, — вскочил незнакомец.

Михай одной рукой без труда усадил его на место.

— Вы останетесь здесь!

— Нет, я пойду. — Человек под рукой у Михая напругся.

Сын вдруг рассмеялся. Так он смеялся у адвоката, когда разводился с Мили. Мне и тогда не понравился

его смех, и слова не понравились, которые он тогда сказал. Больше не буду таким идиотом, каким был, сказал он тогда, эх, столются миру мои слезы! Да разве ж мир тебя выставил на посмешище, а не Мпли твоя, говорила я ему. А он все свое: не буду больше таким идиотом, вот увидите!.. И вот он смеялся тем же смехом, глядя, как барахтается у него под рукой этот несчастный, как цепляется за стол, будто кошка, когда ее к земле прижимают. Нравилось ему это.

— Мне надо идти, — стонал человек.

— Еще бы не надо! — гоготал Михай. — Могу подсказать даже куда!

— Болен он, — робко сказала я сыну. Но в эту минуту он был уже не сын мне, а мужчина, который повелевает.

— Сказано вам, ступайте! — Он перестал хохотать и точно взбесился вдруг. — Не пойдете, так я никого дожидаться не стану!

— Почему вы не скажете моему сыну, что вам тут нужно на виноградниках? — в ужасе кинулась я к чужаку. Я вдруг приняла его сторону, хотя понимала, что не надо бы этого делать.

— Меня это не интересует, — сказал сын.

— Скажите ему правду, — уговаривала я того. Я стояла в дверях, показывая, что уже ухожу, только вот еще слово скажу и пойду, но мне страшно было оставить их вдвоем.

— Я не совершил ничего дурного, — хрипел человек, притиснутый к столу. — Пустите меня.

— Отпусти его, — твердо сказала я сыну. Михай отпустил, отошел назад, глядя на него злыми глазами.

— Ничего дурного, — сказал незнакомец, распрямляясь. Он ощупывал шею. — Просто мне некуда было податься. Я и решил остаться здесь. Вышло так, что мне некуда было податься.

— От закона некуда, что ли?

— Не от закона. — Он медленно покачал вот так головой и горько усмехнулся. — Не от закона... — Он поднял на нас глаза и посмотрел — нормально, по-человечески, ну совсем как любой из нас. — Просто я хотел здесь немного побыть.

Стало тихо, потом человек тот поднялся.

— Я болен,— сказал он.— Заболел. Так что придется все же вернуться в город.

— Сядьте! — велел ему Михай.

— Придется вернуться. Сам понимаю, что придется вернуться.

— Сесть! — рывкнул на него Михай. Тому нечего было делать, пришлось повиноваться.— В какой город? — Тот не отвечал.— В какой это город вы хотите вернуться?! — давил на него Михай.

— В Таполцу.

— Ух-х, рожа поганая! — прошипел Михай.

Человек повернулся ко мне, на скулах были красные пятна.

— Прошу вас, скажите ему, чтобы он не разговаривал так. Прошу вас...

Но я была уже в дверях и сказала — видела ведь, что добра тут не жди, и потому сказала только:

— Ну, я пошла, сын...

И вышла на улицу. Сразу-то не ушла, остановилась на темном дворе, прислушалась. Ноги подо мной подгибались. Не могу я брать на душу такое, коли до конца не уверена, думала я. В доме было тихо, ни пороха. Хорошо, успокаивала я себя, все хорошо, Михай будет ждать, он дождется всех остальных. Только б не опоздать. Смилуйся, господи, смилуйся, пресвятая богородица! Михай дождется. Да и для этого человека так будет лучше. И для всех. Смилуйся, господи! Тем временем я уже спешила вниз по дороге. Ноги скользили по грязи, сердце колотилось, смилуйся, господи, сначала позову Банов, потом позовем Тиболлу, они пойдут вверх, а я забегу еще к Хорватам, что живут у нижней дороги, может, и еще кто попадется. На небе ни звездочки, сплошная тьма кругом и грязь. Собака Банов узнала меня, к ногам стала ластиться, сколько раз приносила я ей кости с тех пор, как нашу собаку задавила машина. Стукнула я в окно. Что да как, или случилось что, да почему в такую пору?.. Ну рассказала. Бан не долго думая накидывает пальто, жену гонит к Тиболлам.

— А дети-то как? — испуганно спросила Бана жена.— Ну, как тем временем он сюда нагрянет?!

— Как это нагрянет, когда его Михай стережет? — цыкнул на нее муж. Он засуетился, забежал как оглашенный.— Что брать-то? Топор? — Заверещали было

ребятишки: «Разбойник, разбойник». Бан рывкнул на них, затащил на штанах ремень и с топором в руках распахнул дверь так, словно чужак тот во дворе у него стоял.— Он, говорят, и к бабам приставал,— бросил он мне в темноте.— Младшая дочь Хорватов едва ноги от него унесла у Каменного креста.

Банова жена была уже далеко, было видно, как она светила карманным фонариком на холме, где жили Тиболлы. Бан попросил меня побыть с детьми: он, мол, с Тиболлой и без меня дорогу найдет. Я вернулась в дом к малышам. Они сгрудились у окна, все хотели на разбойника посмотреть, хотя и визжали от страха, насили я их успокоила. Потом села в натопленной кухне; откуда-то издалека донесся визгливый голос Бана — видно, кого-то еще повстречал. В войну только было такое, так же жутко сверкали у мужиков глаза, вот как сейчас у Бана. Так же выбегали они сломя голову из домов. Скоро они все будут у Михая. Господи помилуй!

Когда в дом ворвалась жена Бана, я аж вздрогнула.

— Тиболла пошел уже,— проговорила она, еле переводя дух.— И Хорват у него был, и Кантор тоже, сусло пили в погребке у Тиболлы, повезло-то как!.. Вы не уходите пока, вы туда не ходите!..

Но я встала, простилась и заторопилась в гору; спотыкалась, хотя дорога знакомая, знаю, где какой камень лежит, да только уж очень я спешила, цеплялась за виноградные подпорки, потом выдернула одну из мягкой земли себе в подмогу и продолжала карабкаться наверх.

Мужчины уже стояли кольцом на нашем дворе, в руках у Тиболлы штормовой фонарь, который он поднял над головой, чтобы всех было видно. Чужак стоял на земле на коленях, руки закручены за спину и связаны. В руках у Бана плясал топор, Хорват сказал ему, положи, мол, к чему это. «Да ведь он и твою дочь тоже!» — затрясся Бан. Хорват не ответил, снял шляпу, той же рукой вытер лоб, потом надел опять шляпу и уставился на того человека. Конец веревки держал мой сын; Кантор спросил его, все ли готово.

— Готово,— пропыхтел Михай.— У-у, гад!

Тут незнакомец поднял голову и увидел меня с колом. Я сделала всего один шаг и очутилась за спиной

у Тиболлы, тихонечко уронила кол, но Тиболла обернулся на шум и с головы до ног осветил меня фонарем. Тому человеку теперь меня хорошо было видно, но кола при мне уже не было.

— Ну так что? — спросил Кантор; на нем была железнодорожная форма, та, что поплоче, которую он на винограднике донашивал. Все были старше моего сына и все-таки ждали решения от него. Он, стоя над чужаком, расправил плечи. Заметил меня в свете фонаря; очень мне хотелось узнать, что в нем теперь происходит, но он только коротко бросил: «Скоро вернемся». Будто и не сын мне вовсе. Сейчас он и впрямь был не сын мне, а мужчина, который повелевает. Так смотрели на него и другие. Он стоял среди них так, как стоял всегда прежде, до того позора, что вышел из-за Миля.

— Встань! — приказал он связанному.

И человек тот встал. Я все думала — вот он что-нибудь скажет им или сделает что: бросится на них, ну хоть зубы оскалит; но он ничего не сказал, ничего не сделал, только встал.

Тиболла направил на него фонарь, круг сомкнулся еще тесней.

— Из-за таких вот гадов и нет человеку покоя! — сказал, весь трясясь, Бан.

Тот уставился в землю. Кантор пихнул его, но под взглядом Михая отошел.

— Веревку-то крепко держишь? — тихо спросил он у моего сына. — Я только проверить хотел...

— Держу! — жестко ответил Михай.

— За девками гоняться?! Ишь чего вздумал! — оскалился Бан и плюнул в незнакомца. Тот только чуть отвернулся, но и теперь ничего не сделал. Мне уже не хотелось, чтобы он что-то сделал. Я пожалела даже, что бросила кол.

— Он и на меня напал, когда я от колодца шла! — Я оглянулась по сторонам, не понимая, кто это провизжал: да ведь это я! У меня руки и ноги похолодели, так я перепугалась. Но все ж таки не создалась, что неправда это. Молча глядела, когда мужчины на него закричали, стали толкать, пинать его. Я не раскаивалась. Если бы человек этот вымолвил хоть слово или что-нибудь сделал, может, я бы думала по-иному. Но он все сносил. Ну а коли так — пусть! Я

искала глаза сына, но прямо передо мной стоял Хорват, который, приподнимая шляпу, все вытирал лоб и канючил:

— Ну пошли, пошли уж, сведем его в отделение...

— Пошли! — резко сказал Михай. — Отведем гада!

Он дернул веревку, человек пошатнулся.

— Ну ты, каналья! Что, в Таполцу захотел? Будет тебе Таполца, не беспокойся!

Тот все смотрел в землю.

Я отошла в сторону, чтобы дать им дорогу. В груди был такой холод, что стало страшно. Я отошла, и они зашагали. Впереди шел Тиболла с фонарем, за ним остальные. Они окружили связанного кольцом. Михай шел с ним рядом, держа конец веревки. А тот человек опять перестал походить на человека. Он снова смахивал на какое-то животное. Не на бродячего пса, а на другого какого-то гадкого зверя. Он не произносил ни слова, только шел и шел в окружении своих стражей.

Дивное лето

Не любил он чужие ванны. На полке над умывальником стояло, правда, какое-то дезинфицирующее средство, которым хозяйка, должно быть, все опрыскивала после каждого квартиранта, но Шандор все равно старался ни до чего, кроме крана, не дотрагиваться, а ноги намылил и ополоснул еще раз, когда после душа вылез на маленький резиновый коврик.

В дверь постучали, тихо, но настойчиво. Обозлившись, он пустил сильную струю воды — пусть слышат. Вот этого он тоже не любил, эту спешку. Вечно приходится вычислять, когда можно прошмыгнуть в ванную, не говоря уже об уборной — там тоже всегда занято и тоже без конца барабоят. Стук повторился, дернулась дверная ручка — ну уж это слишком! Минутку! — закричал он в ярости, а потом повторил по-немецки: *Moment!* — подозревая, что рвутся немцы из соседнего номера. А может, итальянцы. Итальянцы в набитом до отказа «фиате» прикатали вчера после обеда, когда семья Шандоров была еще на пляже, и, видите ли, не могли въехать во двор из-за их «жигулей». Вечером они подняли по этому поводу такой крик, что Шандор только за голову хватался. И досаднее всего, что хозяйка взяла их сторону. Машину следует ставить так, подпевала она своим итальяшкам, чтобы всем хватало места, и она, мол, вправе требовать этого хотя бы потому, что не берет за стоянку ни гроша. Шандор хотел было сразу собраться и дать ходу, да Клара убедила остаться.

Ручка опять дернулась. Даже не вытеревшись как следует, он накинул халат, схватил бритву и несессер, распахнул дверь и вышел. От двери отскочили двое курчавых ребятешек. *Grácie, signore!*¹ — пропели

¹ Спасибо, синьор! (*итал.*)

они и, прошмыгнув мимо него, закрыли за собой дверь. Он слышал их веселую возню, пока шел по коридору, оставляя резиновыми тапочками мокрые следы на дорожке, и, сторонясь, пропускал все итальянское семейство.

— Ну наконец-то! — встретила его в комнате Клара. — Завтрак на столе! Ребенок совсем извелся.

Он не ответил, молча убирал свои вещи.

— Вечно вас приходится ждать, — канючил маленький Шандри. Он сидел за столом, аккуратно причесанный, в новеньких фирменных джинсах и полосатой майке. Руки засунуты за широкий пояс, подбородок уткнулся в грудь; он сполз со стула и почти лежал, расставив ноги.

— А этому чего не хватает? — спросил Шандор. Приспособив вместо зеркала створку окна, он стоял и причесывался. — Чего ему не хватает с самого утра?

— Он есть хочет, — ответила Клара.

— А я тут при чем?

— Ни при чем. Я просто объясняю. Ну иди же, будем наконец завтракать. Мы только тебя ждали.

— Ко мне ломились эти вчерашние щенки.

— Осторожно, там мой краб, — сказал Шандри.

— Что-что?

— Мой краб. Смотри не опрокинь.

— Что не опрокинуть?

— Краба, — спокойно объяснила Клара. — Там, под окном, в банке из-под варенья.

— Он будет вонять. — Шандор уставился себе под ноги.

— Не будет. — Шандри еще больше набычился. — Я его домой повезу. И морскую звезду. И морских ежей тоже.

— Да они уже воняют, — возмутился Шандор.

— Нет, не воняют!

— Но я же чувствую. И всю ночь чувствовал. Разлагаются и воняют.

— Вовсе они не разлагаются!

— Ну ладно, не спорьте, давайте есть, — уговаривала Клара. — Папа, иди скорее.

— Могли бы есть без меня. — Шандор сдул волосы с расчески. — Помыться спокойно не дадут в этой паршивой ванной! Толкутся без конца перед дверью! — Он отодвинул стул, сел, посмотрел на кубики плавлен-

ного сыра и маленькие коробочки с джемом на тарелке. Потянулся к чайнику: — Кофе?

— Нет, чай. Налить?

— Давай.— Дожидаясь, пока Клара поставит перед ним еду, он опять вспомнил: — Мы не потащим с собой всякую вонючую дохлятину!

— Ах, оставь, пожалуйста,— вздохнула Клара.— Ведь он сам их поймал в море! Это его маленький зверинец. Ну, ешьте.

— Я не хочу сыру,— сказал Шандри.

— Возьми джем,— предложила мать.

— И джема не хочу, он мылом пахнет!

— Чем? — ошеломленно уставился на него отец.— Мылом? Ты что выдумываешь?

— Надоело мне есть каждое утро сыр и джем.

— Ему надоело! — возмутился Шандор.— Ты слышишь? Ему, видите ли, надоело!

— Да, надоело, я их не люблю.— Шандри дерзко выпрямился, топнул ногой.— Меня от них тошнит!

— Не топай! — закричал на него отец. Он снял обертку с сыра, с подозрением надкусил и опять положил на тарелку; пережевывал, запивая чаем.— Замечательный сыр, лучше здесь не достанешь.

— Послушай, мой мальчик,— осторожно вступилась Клара,— мы платим за завтрак четыре динара. На четыре динара что купишь? Чай или кофе, сыр, джем, какую-нибудь булочку и фрукты. Зато не нужно бегать с самого утра, выискивая, где бы поесть. Папа очень умно придумал.

— Не уговаривай его! — вмешался Шандор.— Не хочет — пусть не ест. Другого не будет.

— Ты совсем похудеешь, милый,— вздохнула Клара.

— Ничего, с голоду не умрет. Проголодается — поест.

— Я и так голодный,— сказал ребенок.

— В таком случае, пожалуйста, все перед тобой! — Клара хотела вмешаться, но муж остановил ее взглядом.— Не упрашивай его! Мы приехали в Югославию, отдыхаем, купаемся в море, кругом такая красота, ездим повсюду. Все, что я прошу,— это чтобы он не кочевряжился за завтраком!

— А ты тоже не любишь плавленый сыр,— сказал Шандри.— Он к зубам прилипает, ты сам говорил.

— Вот видишь! Однако ем! И кончим на этом, хорошо? Хватит уже.— Он повернулся к жене.— Что будем делать? Спустимся к морю? А может, еще что-нибудь?

— Жарко,— сказала Клара.

— Да.— Шандор выглянул в окно. За деревьями, покрывавшими склон, виднелось море. Голубая вода залива сливалась с голубизной неба. Погода стояла ослепительная.— Ну так что?

— Давайте до обеда купаться, потом где-нибудь поедим, а после придем переоденемся.

— И что?

— Поедем на пароходе! — оживился Шандри.

— Ты уже поел? — строго посмотрел на него отец.

Шандри потянулся за рогаликом и стал громко жевать.

— Чавкаешь,— неодобрительно покачал головой Шандор. И опять повернулся к жене.— Ну так что же?

— Не знаю.

— Но ведь что-нибудь ты надумала? Или нет? Ну хорошо, с купаньем решено, с обедом тоже. В том кафе, что я вчера предлагал, вверху, над скалами. Ну а потом? Может, посидим в каком-нибудь другом кафе? Также вариант. Или еще раз посмотрим старый город? Съездим наконец в Опатию, там посидим где-нибудь, там, конечно, все дороже. Ну ничего, осилим. Вы выпьете лимонаду или воды с сиропом, я кофе...

— А я мороженое,— с заблестевшими глазами сказал Шандри.

— Нет, мороженое купим на улице,— холодно осадил его Шандор. Не обращая внимания на недовольные гримасы ребенка, он опять повернулся к жене: — Ну так как? Или, может, поедим в Риеку? Хотя мы и там уже были. И Пулу тоже видели: пристань, триумфальную арку и эту арену. Совсем как в Риме, такая же огромная. Просто удивительно. Хорошо бы снимки получились... И на пароходе катались. Так что?.. Осторожно, чай прольешь!

Чашка в руке у жены слегка задрожала и резко звякнула, когда она поставила ее на блюдце.

Шандор внимательно смотрел на жену.

— Ну, что молчишь?

— Ах, не знаю я, брось ты все это, оставим сейчас, потом что-нибудь придумаем...— Она неожиданно

накинулась на сына: — Но мусоль рогалик, ешь как следует, или сейчас дождешься у меня!

— Нет, так нельзя, — урезонивающе произнес Шандор. — Нельзя так нервничать. Мы приехали сюда отдыхать, а не нервничать.

— Все ты!..

— Я? А что я такого сделал? Я только перечисляю, куда мы могли бы поехать и что мы уже видели, я всего только хочу, чтобы мы планомерно...

— Планомерно! Планомерно не отдыхают! Дома все планомерно — и тут все планомерно! Зачем, если так, мы сюда ехали?

— Мы каждое лето куда нибудь ездим, — сдерживаясь, сказал муж. — А ты, пожалуйста, поспокойней, расслабься, что ли...

— Да я-то расслабилась... — Клара поднялась, обшла стол и села на детский диванчик посреди разложенных купальных вещей. — Когда мы сюда ехали, я именно что расслабилась, отключилась...

— А почему ты не ешь?

— Не могу. — Махровый халат на ней распахнулся, открылась узенькая полоска черных бикини.

— Ты уже в купальнике...

Мальчик воспользовался длинной тягостной паузой. Он тоже встал из-за стола, опустил на корточки рядом с копошащимся в банке крабом, постучал по стеклянной стенке.

— Ну хорошо, хорошо, — сказал Шандор. — Идем на море. — Он кончил есть, отвернувшись к стене, распахнул халат и надел плавки. — Так в чем дело? Шандри, ты почему не переодеваешься?

— Я так пойду.

— Так?! — Ища поддержки перед лицом такой явной несообразности, Шандор воззрился на жену. — То есть как это он так пойдет?

Не в силах больше сдерживаться, Клара истукленно закричала:

— Снимай немедленно свои тряпки, не зли отца, иначе я не знаю, что сделаю!

— Ты сама сказала, что я могу так пойти, — испуганно глянул на нее ребенок. — Ты сказала, можно в новых джинсах...

— Ничего я не говорила, делай, что папа велит!

— Тебе же лучше, — кротко сказал Шандор. —

Ведь ты любишь купаться, не будешь же ты плавать в джинсах, мы как-никак поехали к морю, чтобы доставить тебе удовольствие...

— Да-да, доставить удовольствие тебе и мне, если хочешь знать!.. — Клара уже плакала. — Все ради нас, запомни хорошенько, для папочки это только лишняя морока, это великая жертва, ему пришлось бросить работу, прервать переговоры с какими-то там его партнерами...

— Моими партнерами! — нервно рассмеялся Шандор.

Но Клара продолжала с нарастающей яростью:

— Да, да, и вообще он сыт по горло всякими поездками, перелетами, бесконечными ужинами в иностранных гостиницах, этими мерзкими барами, где ему, бедняжке, приходится сидеть и пить часами, и нам с тобой следует вести себя пайныками да поблагодарить его хорошенько за то, что он соизволил совершить это путешествие в нашем обществе!.. Поэтому быстро надевай эти проклятые плавки, если не хочешь скандала!..

— Не нужно ничего надевать, — обиженно сказал Шандор.

— Ну отчего же!

— И разговаривать так не нужно!

— Никак я не разговариваю, я только хочу, чтобы ребенок не портил тебе отдыха!

— Он и не портит...

— Ну тогда я.

— И ты не портишь. Не говори глупостей.

— Я всегда говорю глупости. Зато ты возвращаешься среди людей, которые никогда не говорят глупостей. Что ж, прошу прощения. Очень сожалею. Конечно, тебе неприятна моя...

— Ничего мне не неприятно. И вовсе... — Шандор почувствовал, что в голове у него пустота, полная пустота, слова не приходили на ум. Он даже не знал толком, что хочет сказать. Он не понимал собственного раздражения и уже жалел, что вообще затеял этот разговор. Шандор посмотрел на сына. Мальчик, побледневший, с расширенными глазами, стоял у окна: он торопливо расстегнул пояс и вылез из штанов. Мальчик был худенький, большеглазый, с мягкими волосами. На мать похож. Глядя сейчас на их испу-

ганные лица, Шандор еще сильнее осознал это сходство.— Я просто хочу, чтоб был порядок...— смешавшись, закончил он.— И не понимаю, почему из-за этого нужно устраивать такую бучу? Я же ничего не сказал такого...— Он настороженно замолчал, ожидая ответа жены, но после своей вспышки она, обессиленно ссутулившись, не шевелясь, сидела на диване.— Разве не правда?— тупо продолжал он.— И никакая это не жертва, мне здесь... нам здесь очень хорошо. Вот вчера как мы замечательно провели время. У тех камней, где черные ракушки... А устрицы в ресторане. Вы ведь первый раз ели устриц, так? Ну вот видите! И Шандри понравилось, вы оба были довольны. А моторка? А остров Крк!..

— Ну да, теперь морской прогулке какую.

Он разозлился, но тут же почувствовал справедливость упрека.

— И вовсе не какую,— запротестовал он.— Мы еще поездим. Ведь у нас еще целых десять дней...

— Скажите пожалуйста, десять дней!— язвительно рассмеялась Клара.

— Да, десять дней.— Он старался подавить раздражение, обойтись без нравоучений, чтобы угодить им.— Мы ведь приехали, чтобы все посмотреть, все попробовать, чтобы разумно провести время, разве нет?

— Тебе лучше знать.

— Но это от всех нас зависит. А если я иногда учу Шандри уму-разуму, так для его же пользы, он еще многого не понимает...

— Да учи, пожалуйста.

Он хотел было пропустить это замечание мимо ушей, но на него опять нахлынуло негодование:

— И учу! Потому что чувствую свою ответственность, вот и учу...— Он закурил сигарету, долго тряс спичкой, медленно выпускал дым, пытаясь выиграть время— вдруг они соберутся на пляж или что-нибудь произойдет, и можно будет замять этот разговор. Он знал, чем дальше, тем станет хуже, но сам все-таки не сказал: ну ладно, подъем, пошли купаться. А те двое, мальчик и женщина, и вовсе не шевелились. Клара скрючилась на диване, Шандри, уже в плавках, с маской в руке, не отходил от матери; он был пепельно-серым и дрожал, как всегда, когда родители ссорились. Неподвижность их была ему невыносима.— Шандри!—

позвал сына отец и, отвернув простыню, сел на край двуспальной кровати.— Поди сюда!

Шандри покосился на мать, но она молчала, и мальчик неохотно подошел к отцу.

— Я хочу тебе что-то сказать, мой мальчик. Тебе уже двенадцать лет, так ведь?

— Что тебе нужно от ребенка? — встрепенулась Клара.

Шандор словно не слышал.

— Двенадцать, да, мой мальчик?

— Да.

— Ну вот. Когда мне было двенадцать лет...

— Прекрати, пожалуйста!

— Я с Шандри разговариваю, а не с тобой!.. Когда мне было двенадцать лет, я два раза в неделю ездил на велосипеде за десять километров от дома на мельницу за мукой. На разбитом велосипеде, понимаешь? — Мальчик нехотя кивнул.— Смотри на меня, слышишь! Сейчас я скажу тебе что-то очень важное...— Шандри чуть отодвинулся, чувствуя неловкость от близости отцовского лица.— Слушай внимательно! Даже этот велосипед уже был великое дело, не то мне пришлось бы идти пешком. Знаешь, как тяжело тащить десять килограммов муки? Ты вообще знаешь, что такое вес в десять килограммов? — Мальчик не решался ответить, стоял столбом.— Думаю, не знаешь. Мука тогда была на вес золота. Мы в то время на хуторе жили, на Алфельде. Потому что Будапешт бомбили.

— Ты уже говорил,— тихо сказал ребенок.

— Ты ему уже тысячу раз это рассказывал!

— Нет, не рассказывал. Десять килограммов довольно тяжелый груз для двенадцатилетнего мальчика, правда ведь? Представь к тому же, что я не доставал до седла. Десять километров туда, десять обратно...

— Будет двадцать! — Шандри посмотрел на мать, пытаясь определить, шутит она или нет, но когда Клара договорила: — Да десять килограммов муки, значит, всего тридцать! — то уже по взгляду отца понял: нет, это была не шутка.

Помолчав, Шандор продолжал:

— Двадцать километров ехать, согнувшись над рамой...— Шандри слушал, боясь дышать.— Да еще удерживать в равновесии велосипед с мешком...

— Ну для чего все это? Может, лучше пойдем? — враждебно сказала Клара.

— Сейчас пойдем. Сию минуту. Шандри должен это понять. Ты понял, мой мальчик?

— Да.

— Ну и прекрасно. Но эта история с мукой еще пустяки.

— Оставь же его наконец! — сказала Клара.

— Сейчас. Шандри, ты умный мальчик, ты меня понимаешь. Те поездки на велосипеде были просто забавой по сравнению с дальнейшим. Хотя, если подумать, ты и с этим бы не справился.

— Откуда ты знаешь, что он не справился бы?

— Знаю. Мы его слишком избаловали.

— Теперь не та жизнь, что раньше.

— Совершенно верно, Клара, жизнь, к счастью, не та. Теперь. Теперь у нас другие времена. — Он повернулся к сыну. — Но твоему отцу, мой мальчик, пришлось кое-что пережить. В сорок четвертом я был всего на год старше тебя, а нас, как левентовцев, гоняли копать траншеи и противотанковые рвы...

— На Алфельде? — спросил Шандри.

— Нет, не на Алфельде, уже в Задунайщине. Мы там тогда жили, рядом с австрийской границей. Зимой копаем рвы, ледяной ветер режет глаза, поверху расхаживают немцы и орут: schnell, schnell, arbeiten!

— Это значит, работайте быстрее, милый. Представь, он и немецкого не знает!

Шандор сдерживался изо всех сил; указательным пальцем он барабанил по мундштуку:

— Верно, это значит — работайте быстрее... И мы работали, потому что нам приказали, а после, когда, усталые, возвращались домой, стояли в очереди за хлебом, в очереди за солью, за табаком...

— Ты курил?

— Нет, не курил. Я не шучу, Шандри, я с тобой серьезно разговариваю!

— Он тоже не шутит, — сказала Клара.

— Я не шучу, папа.

— Я разговариваю с тобой серьезно! — повысил он голос. — А если я говорю серьезно, то и слушай меня серьезно!

— Я серьезно тебя слушаю, папа.

— Он просто спросил, — добавила Клара.

— Я говорю серьезно, я хочу, чтобы ты знал, что жизнь не всегда была такой, как сейчас. Я хочу, чтобы, когда ты начинаешь ковыряться за завтраком — плавленого сыра тебе, видите ли, не хочется и джема тоже не хочется, — чтобы ты вспомнил о том времени, когда людям вообще нечего было есть. И взрослым, и детям! Я хочу, чтобы ты знал, что на наших глазах умерли сотни людей, сотни были расстреляны и свалены в заранее вырытые ямы, что нам уже в детстве приходилось собирать и закапывать трупы... — Он чувствовал, что распаляется все сильнее, но остановиться не мог. — И нам даже в голову не приходило, что можно поехать отдыхать за границу... к морю! Что можно поехать на машине с родителями... да у нас и не было никакой машины... у нас ничего не было! И вообще мы делали не то, что нам хотелось, а то, что нам приказывали... у нас вообще не было детства, понял? Не было! Ничего не было! И джинсов не было, и этого хныканья, и водолазных костюмов, и... и выбора! Ничего! Так-то вот!

Он вскочил, отошел к окну. В ушах звенело от поднявшегося давления, он ничего не видел. Сигарета потухла, он выкинул ее в окно. По тропинке, поскрипывая, медленно катила тележка, запряженная ослом, — этот звук был первое, что он услышал. Потом увидел сидевшего в тележке мужчину в шляпе, покачивающуюся спину осла, составленные одна в другую пустые корзины. Он помассировал ладонями шею, потом грудную клетку, с опаской глубоко вздохнул. Пейзаж, раскинувшийся перед ним от вершины холма, прояснился. В комнате за его спиной царил тишина. Он хотел повернуться, но еще постоял некоторое время не шевелясь, обессиленный. Смотрел на лавровые кусты по краям тропинки, на обвившее загородку держидерево. По морю, в направлении Риеки, плыл пароход; было слышно фыркание лодочных моторов на берегу, с шоссе доносился шум автомобилей. Все вокруг было густо-зеленым, а за зеленью синева: темно-васильковая и бледно-голубая, и по этой синеве бесшумно удалялся белый пароход.

Ну, а теперь пошли купаться, хотел он сказать с полным сознанием своей правоты. И удивился, что все-таки робеет. Молча он повернулся от окна — тех двоих в комнате не было. Он поразился: то, что мать

с сыном заключили против него союз, возмутило его. В первую минуту Шандор решил, что не пойдет за ними на пляж, на привычное место у скалы, но потом подумал: надо пойти. Если дать им почувствовать свою обиду, только себя выставишь посмешищем. Он взял сигареты, журнал и, не торопясь, хотя и был взвинчен, отправился вниз.

Клара, сдвинув на затылок панаму, лежала вниз животом на гладкой скале. Он сел рядом; скосив глаза, увидел: жена приподняла голову, когда он подошел, но сразу опять закрыла глаза и продолжала безмятежно загорать. Она уже купалась: трусы были мокрые. Шандор открыл принесенный с собой журнал, начал читать статью под названием «Экология и революция». Но время от времени озираясь вокруг, пытаясь понять, куда девался Шандор. Однако у Клары спрашивать не хотел. Едва углубившись в статью, он опять поднял глаза, искал сына среди купающихся и на прибрежных валунах.

— Он поехал на моторке кататься.

— Что?

— До пристани и обратно, — сказала жена тем тоном, которым способна была еще долго разговаривать после ссоры. Она села, стала втирать масло для загара.

— И ты отпустила?

— Отпустила.

Шандор повернулся к морю, попытался разглядеть что-нибудь, но солнце слепило глаза.

— А что, лодка в порядке была? Я имею в виду...

— В порядке.

Он посмотрел на жену, попробовал улыбнуться:

— Намазать тебе спину?

— Не надо. Лучше пойдی искупайся. Тебе полезно.

— Я сначала почитаю... — Он следил за движениями жены. Ждал, не скажет ли чего-нибудь еще, но она опять растянулась на солнышке и прикрыла глаза. — Хочешь послушать? — Клара не отвечала. — Хочешь послушать... что я читаю? — Он был отходчив, не выпосил, когда она молчала, хотя прекрасно понимал, что лучше бы и ему сейчас помолчать. — Очень интересная статья... О том, на сколько процентов к двухтысячному году увеличится население и, если мы не будем бережно... как бы это сказать... расходовать

природные ресурсы, что ли, в том смысле, если мы и дальше будем жить так же расточительно...

— Например, выбрасывать плавленный сыр!

— Речь идет о мировой экономике,— после небольшой паузы сказал Шандор.— Я думал, тебя это интересует.

— Меня лето интересует. То есть интересовало бы.

— Ради бога.

— Если б ты не мешал.

— Ради бога: Пожалуйста.— Потом измученно: — Как ты не понимаешь, Клара, это же серьезные вещи...

— О, конечно. И все это тоже, кажется, становится очень серьезным.

— О чем ты?

— Это тоже становится очень...

— Что «это», что? И будь любезна, Клара, смотри на меня!

— Изволь! — Клара подняла голову. Они смотрели друг на друга в упор. Клара сказала: — Лето. Это дивное лето.

Брат и сестра

Ну, я и говорю ему, послушай, мол, старые уж мы, чего нам ссориться. Ты ведь брат мне, а я тебе сестра родная. Тебе, вон, семьдесят уже, да и мне девятый десяток пошел, ну почему ты не можешь жить со мной ладно? Одни мы остались, одни-одинешеньки, в этом старом доме, все тут уж ветхое совсем, стены трескаются, штукатурка, вон, осыпается, черепица на крыше побилась, труба водосточная болтается; а где силы взять починить, да и долго ли нам еще осталось, а бед всяких у нас и так хватает — и choroby, и старость, сам знаешь, ну почему мы не можем любить друг друга? — А он говорит мне: мол, сроду мы не любили друг друга, ты всегда меня ненавидела, и я тебя терпеть не мог, может, так-то оно верней? Может, об этом поговорим? — Чего, говорю, об этом разговаривать, коли неправда это? — А он мне, мол, неправда, как же, неправда, ишь как легко говоришь — неправда; всегда ты во все встревала, все портила, тебе ведь только бы командовать, всех от меня отвадила. — Это я-то? Я отвадила? Кого ж это я отвадила, кроме тех, кто тебя недостойн был да семьи нашей? Кого? Ну скажи, кого?! Я ведь и невесту тебе приискала, да ты только отмахнулся, куда там, ты ведь всех умней, лучше всех все знаешь. А я вот на тебя не обиделась, все молилась за тебя, чтобы образумился, не привел в нашу семью кого не надо. Ты бы лучше вспомнил, как охаивал всех, да, да, всех, всех охавал, кто ко мне сватался, кто замуж хотел меня взять, всех прогнал, а только я все равно не отступалась, любила тебя, ты ведь брат мне, нас одна мать родила, один отец, я ж от плохого хотела тебя уберечь, хотела, чтоб тебе легче жилось, как же это, говорю, я тебя не любила. — А он мне, мол, ну да, как же, еще чего скажешь! — Нет, любили, любили мы

друг друга, говорю, так и запомни, думать не смей по-другому. Я всю жизнь за тебя молилась.— Да уж, говорит, молилась! Ты только и делала всю жизнь, что молилась да юлила перед попами и святошами, вот и вся твоя хваленая набожность, вся тут! Всю жизнь ты со всеми ссорилась, всех обижала, и жену мою, бедняжку, со свету сжила. Всяк был не по тебе. От всех ты нос воротила, всех бы с потрохами съела, зато по утрам причащалась, как же, причащалась, и как это у тебя выходило — всем кости перемоешь языком-то своим, а потом за него же — святую облатку, как это у тебя получалось? Все это одно притворство было, и набожность твоя — чисто фарисейство! — Говорит он этак, злобно так говорит, а я только смотрю: каким же он злым быть может, господи.— Безбожник ты, говорю, легче тебе, что ль, на сердце, коли богохульствуешь? — А я и не богохульствую, говорит, я про тебя говорю, о тебе ведь речь-то, а не о боге, хотя чего ж, можно и о нем поговорить.— Вот, вот, говорю, вот до чего ты докатился.— Да, говорит, и докатился, потому как вы, вы с богом со своим, жизнь мне искалечили: ни детей нет у меня, никого нет.— Чего бога в этом винить, я, грешница, и то не виновата, что ты не женился по-людски.— Не по-людски, говорит, верпо, так ведь ты всю жизнь мне поперек дороги стояла, а когда взял наконец за себя бедняжку, жену мою, поздно уж было, ушло мое время. Из-за тебя все! Какой же я дурак был, все уступал тебе! — Потому что и сам понимал, что слушаться меня должен, я ведь старшая была, ты у меня на руках вырос, кому же, как не мне, о достоинстве семьи нашей заботиться было.— А он в крик, мол, кто тебя просил, какое к черту достоинство, ничего с твоим достоинством не случилось бы, да ты все на господ оглядывалась, что они скажут, и вовсе не о семье ты пеклась, а пыжилась только да в барыни лезла, вот и все.— Не терзай ты меня, не начинай все сызнова, говорю, больная я, не видишь разве, лежу вот, а ты с чем прицепился. Чаю бы, да мочи нет подняться, так все и ломит, так и ломит, живот будто ножом режут, спина, все тело ноет, и голова болит, и сердце; лежать и то мука, не то что на кухню выйти, а ты и тут все ругаешься, остановиться не можешь.— Когда, ну когда, говорит, у тебя чего-нибудь да не болело? Тебе и

рапьше, бывало, слова не скажи, сразу же — ох, сердце. Сердце, сердце. Отродясь от тебя другого не слышивал, кроме как «ох, сердце» да «ах, сердце»! — Больная ведь я, говорю, посмотри, совсем больная. — А он знай все свое твердит, мол, я потому и не перечил тебе никогда, из-за сердца твоего, а ни черта бы ему не сделалось, твоему сердцу! У меня вся жизнь прахом пошла из-за твоей придури. — Ну не мучь ты меня, говорю, не мучь; господи, вразуми его. — Вразумит, кивает он сердито, лучше б он тебя вразумил, чтоб не плакалась на живот, коли тухлятину ешь, все скупость твоя, все она! Дождешься, вгонит она тебя в гроб! Ставить снесь в кладовку, на чердачную лестницу, в этакую-то теплынь, не мудрено, что портится, а ты все ешь. Да какая утроба такое выдержит?! — И не ем я, говорю, плохой пищи и никогда не ела, уж этого ты на меня не наговаривай, все знают, какая я чисто плотная, а стряпню мою всегда все хвалили, никогда я не ела плохого, оставь ты меня в покое, чаю бы лучше вскипятить. — Ну да, теперь еще нянькайся тут с тобой, говорит, а спросил у меня кто хоть разок, что у меня болит, ведь иной раз так дерет там, где операции делали, так тянет, да кому это интересно? Вот и мне не интересно, что у тебя болит! — И бранится, и бранится, нет чтоб помочь. — Вот придет доктор, он и определит, какая ты больная, а я расскажу ему, что ты тухлятину ешь! — Не нужен мне доктор, говорю. Он отмахнется от меня, как ты. Забота мне нужна, а не доктор. Докторам дела нет до старух. Оно и правильно, мне уж рядом с матерью пора быть, там мне могилка приготовлена, там мне и место! — Только не скули, говорит, не скули. — Как целый день шататься где-то, это ничего, а как помочь, так уж ему трудно. — А он в ответ, мол, я тебе не нянька. Такой уж у него гадкий норов. — Я же сестра тебе, говорю, и я за тобой ходить стану, когда нужно будет. — Как же, дождешься от тебя, хрен ты будешь ходить за мной. Ну-ка, что ты мне говоришь, когда я жалуясь, а? Притворяюсь, мол, я! Только видит бог, иной раз так у меня болит, где операции делали, что хоть вой. Вот и я тебе скажу, что никакая ты не больная, у тебя уж пятьдесят лет все сердце болит и пятьдесят лет ты укусные примочки на голову кладешь. И сейчас скупости своей спасибо скажи, что желудок болит

от тухлятины! — Ой, да помолчи ты про это, говорю. — Не замолчу, говорит, даже сестра наша, пока жива была, бедная, сколько раз жаловалась, что ты мясо копченое над плигой подвешиваешь, а потом, когда суп фасолевый готовишь, макаешь в него это самое мясо и тут же вытаскиваешь; только и вкусу от грудинки в супе, что запах, да и того негусто! — А я ему говорю, мол, никогда сестра такого не говорила, неправда это, плохо ж ты меня знаешь, коли таким стыдишь. — Уж кто-кто, а я-то тебя знаю, говорит, как никто знаю, натерпелся я от скупости твоей, ох и натерпелся. И на что ты только деньги копишь? — Коплю? Да как же копить, чего нету?! Какие ж у меня деньги, сам ведь знаешь, сколько я от совета получаю, или от сберегательной кассы, что ли, или как там ее — триста пятьдесят флоринтов, ни филлера больше, да не продавай я понемножку цветов да овощей, давно бы с голоду подохла. Ты-то ведь из своей пенсии ни гроша не даешь, всю в корчме на обеды тратишь! — А он опять свое, мол, не есть же дома тухлятину! И не прятала б ты по сундукам свое барахло, продала бы, сколько-нисколько за него да выручила бы, вот и живи, не тужи! А то приютила бы кого, кто тебя кормить-поить стал, переписала бы на него дом, если, конечно, нашелся бы такой, кто на эту развалюху польстился. — Какая ж это развалюха, говорю, многие рады бы такой развалюхе, это ведь дом все же, его сестра наша с мужем построили, хороший домик, да еще с садом, такому каждый был бы рад. — Чего ж ты не найдешь кого-нибудь, кто бы рад был, говорит. — А то говорю, что не хочу транжирить сестрино, дом ее, и ты мог бы побольше ценить это, здесь вся жизнь ее, сестры дорогой нашей, ради этого дома она спину гнула, мог бы язык-го попридержать. — Тоже мне дом, говорит, этот дом и сроду лачужкой был. — Ведь ни о чем хорошо не скажет, только обругает все, будто он самый умный; тоже мне умник; только и знаешь — хулить все, это ты умеешь! — Ценить, хулить! Не о том вовсе речь, а о том, говорит, что никто с тобой под одной крышей не уживется, ты и сама это знаешь, из-за характера твоего, такой уж у тебя характер, ну чисто ведьма старая, прости тебя господи. И я с тобой тут не заживусь, уйду в дом престарелых; дурак я, что ли, маяться тут с тобой, когда есть куда

даться. — Есть, как же, говорю, так тебя там и ждут, только тебя там и не хватало! — И ждали бы, кабы я уйти захотел, завод устроил бы, чтоб я с другими стариками мог жизнь доживать! Там-то небось по-людски живут, не то что в этой развалюхе! — Чаю бы лучше принес, говорю, в желудке прямо так и режет, так и режет, два дня ведь ничего не ела, ослабла совсем, не видишь, что ли? — Ну тут уж он поворчал-поворчал, да пошел, гремит чем-то на кухне, дверцей буфета хлопает, господи, уж так иной раз разойдется, все бы разнес. — Не разбей мои чашки, не для того я их столько лет берегла. — Как же, слышит он! Громыкает, шумит, божеенька ты мой, чистое наказание! Вот будто колет что-то возле кухни; чего он там колет, когда я на растопку наготовила вчера еще, сама закуталась и пошла, видит бог, у меня и сил уж совсем нет, да вот наколола в сарае дровишек, ну почему он от туда не возьмет? Что он там вытворяет? Вон как разозлился, что мне помогать приходится.

Надо подняться да выйти потихонечку, а то он, глядишь, мою табуретку разобьет, уж такой буйный, а ее ведь еще починить можно, она хорошая еще, из моего приданого. Голова-то как кружится, господи! На дворе солнце, а я все зябну — так и колотит меня, в матушкин большой платок закуталась и потихонечку, по стеночке, по стеночке бреду на кухню. Смотрит он на меня, а у самого глаза так и сверкают от злости: чего, мол, шастаешь, спятила совсем, иди ложись, не видишь, что ли, все я делаю, чего сказала. А я смотрю, чего он там рубит. — Зачем же ты на пороге дрова колешь, говорю, а сама себя не слышу, голос совсем тихий, и кухня перед глазами плывет, а там такая грязь: посуда немытая, на скатерти крошки, в тазу мыльная вода, — на пороге, говорю, ну можно ли, ведь попортишь порог-то! — Попортить-то, это можно, говорит, это дело нехитрое, — да ядовито так, как он умеет... — И хватит мне выговаривать, не то брошу все сейчас к чертовой матери, и жди тогда своего чая! — Я ему, мол, чего это ты рубишь, а, когда в сарае полно растопки? До чего, говорю, сегодня очередь дошла? А у самой сил совсем нет. — Когда-нибудь я разозлюсь, говорит, и весь этот дом разнесу. — И что это он так злится всегда, когда я ему что говорю, боюсь я его, и слова уж сказать ему не смею,

а то и впрямь рехнется, все вверх дном перевернет, чего доброго, и меня пристукнет.— Что, говорит, ящика этого дрянного тебе жалко? Да он прогнил весь! Может, и его в горке своей выставишь, на кой еще черт он тебе сдался?! — Я говорю ему, мол, ящик-то ведь совсем еще хороший,— господи, дух перевести не могу, совсем задохнулась,— я же в него насадку сажала, ну почему все нужно в огонь кидать? Почему ты такой, креста на тебе нет, где я теперь ящик возьму, когда нужно будет.— Не нужен тебе ящик,— кричит он, да так, что и соседям слышать,— не нужны тебе ни несушки, ни цыплята, ни котята, на что тебе вся эта живность, только изводишь себя, весь день надрываешься, а потом больная лежишь.— Ты же сказал, что я не больная, а притворяюсь только,— кротко так ему говорю, у меня и сил-то нет ругаться,— а с чем мне возиться, это уж моя забота, ты лучше своими делами занимайся.— И займусь, кричит,— да как швырнет топорик, да как раскидает доски от ящика, и топочет их, топочет,— займусь, кричит, я тебе не прислуга, у меня у самого болезней хватает, сдохну скоро от них, некого будет изводить! — Брат мой, говорю, братец милый, ну разве можно так? Разве так нам надо говорить друг с другом? Состарились мы, одряхлели, а только и умеем, что ругаться? — Это ты все ругаешься, говорит, и закуривает свою сигарету вонючую, которую ему как раз и нельзя курить, потому что кашляет он от нее, прямо как лает, иной раз всю ночь напролет, кажется, грудь вот-вот разорвется. Но я молчу, ничего ему не говорю, ничего, пусть делает, что хочет, сил нет. В сад ушел, одну меня оставил, я цепляюсь за дверь, надо бы лечь, только и чаю хочется. Вот упрямая голова, ох упрямая, потому и ссорюсь с ним, понесла его упрямая башка в сад, теперь вот карауль его: когда-то вернется. Присела я у печки — газет есть немного, пакеты грязные, но и дров надо бы; бреду к двери, вдруг как повело меня, да как бросит на буфет, там все дребезжит, а я только слушаю, что разбилось; и бок болит, ударилась сильно. Тяжело мне наклоняться, да надо собрать, что он тут раскидал. Ну вот, дожила, хорошим ящиком печь топлю, что же делать, коль он его разбил. Из дощечек ржавые гвозди торчат, а какой хоро-

ший был ящичек, я его тряпьем выстелила и сеном, такое теплое гнездо было у наседки. Хорошо смотреть на рябушку, как она кудахчет, моргает; сидим, бывало, с ней вдвоем у печки — я на стульчике, она в ящичке, — кряхтим в тишине, мне ведь только и осталось, что сидеть возле наседки день-деньской. А он вот взял да и разорил гнездышко.

Еле растопила, воду для чая поставила, а сама так устала, что и присесть-то сил нет, привалилась к стенке и жду, когда вода закипит. Этот-то где? Где брат мой? Неужто позволит мне так вот маяться? Ну почему он такой? А, всегда у него норов дурной был. Всегда он был упрямый. Только бы гулять, вечно одни гулянки на уме! Гулянки да песни. Голос-то у него хороший был, что правда, то правда, заслушаешься. И до женщин охоч был, все шутки шутил да смеялся, любили они его, да и он тоже — любая дрянь, бывало, поманит, а он и рад. Ну а я не позволяла. Я добра ему желала. Хотела барина из него сделать, в городе его пристроить. Господин советник помог бы. Да все его башка упрямая, все она! Ему только бы ссориться со всеми, только ругаться! Всех унижить готов! Непочтительный он был, вот что! Никого не уважал, только издевался над всеми да гордился, будто умней его на свете нет. А чего добился? Ничего. Дома остался, в деревне. Тогда мы еще получше с ним ладили-то, письма друг другу писали все же, а уж когда овдовели оба, он сюда переехал, к нам, в сестрин дом, на окраину города. Давно это было. Быстро мы с ним овдовели, да. Я уж тридцать лет как вдова, и он, брат мой, лет десять тому один остался. Да и сестра наша тоже недолго с мужем пожила, в войну ее муж умер, зять мой дорогой, тогда и похоронили мы его, на санках свезли на кладбище, сами и везли гроб; город тогда еще обстреливали, врача не было, словом, так он и помер; снегу было, помню, много и земля промерзла, а потом домой с пустыми санками возвращались; света не было, есть тоже почти нечего было; холод страшный. Рано мы остались одни. А жить надо: жив человек, выжил — значит, нужно жить. Братнина жена бедро сломала, стали ей операцию делать, а во время операции у нее что-то с почкой случилось, мучилась она, бедная, долго мучилась, да и померла. Ну и съехались мы в сестрин дом, все тут

у нас есть. Все есть. Что в доме было, все цело. Мебель, посуда еще от родителей, все, что нам от них досталось, все цело. И фотографии вот, это мы тут в рамочках, вся семья, сколько нас было, молодые совсем, стоим друг подле дружки, тогда еще все живы были. Все мы тут, под одной крышей.

Вот и вскипел наконец чай. Да мне уж его и не хочется, глотнуть не могу, не хочется. Надо бы лечь в постель сейчас, уморилась. Ох как уморилась. Сил нет даже дверную ручку нажать. Бьюсь с ней, чай расплескался, горячая вода на ноги пролилась, господи, совсем обессилела, совсем убогая стала, а ведь как много могла работать. А теперь вот и дверь не могу открыть. Сколько же я работы переделывала за день! И стирка, и глажка, и готовка, и уборка, а со скотиной сколько забот, а в саду; какие же у меня руки были хорошие. Какие я пироги пекла, какие супы варила, сколько компотов, бывало, на зиму наготовлю, боженька ты мой, чего я только не переделала! А теперь вот сил совсем нет. Кожа да кости стала, совсем развалина. Уж и до церкви добрести не могу. Только в постели молюсь, да и то молитву небось как следует уж не помню.

— Ну вот,— говорит он вдруг у меня за спиной,— ну чего ты тут возишься? Чего маешься, сказать не могла, что ли? — Сказать, а кому сказать-то, говорю.— За доктором схожу, говорит.— Это он из сада пришел. Забирает у меня из рук кружку и сажает меня на стул, а сам кастрюлю держит, крышкой накрытую, и ставит ее на буфет.— Не ставь на буфет, говорю, краска облезет.— Пошла ты со своей краской, говорит, но уже потише, и его, говорит, когда-нибудь порублю, буфет этот дрянной, ты о себе лучше думай, а не о буфете. Вот, я тут, это, супу принес, соседка дала, куринный; съешь, а потом я за доктором схожу.— Ой, говорю, и не показывай мне суп этот, все равно есть не могу.— Ты у меня его съешь, черт побери, и доктора я позову, нельзя так.— Ну не ругайся, не груби, не нужен мне доктор, я же говорю, не станет он меня лечить.— Коли не больная, так не станет, а больная, так лекарство даст,— кричит он на меня, а сам с супом своим пристаёт; снимает с кастрюли крышку, ложку ищет в ящике, и ворчит, ворчит, мол, есть в этом доме хоть одна порядочная ложка, черт

побери! — Есть там хорошие ложки, да только не надо ничего, не буду я суп есть. — Как еще будешь, говорит, и пихает в меня суп, я и отвернуться-то никак не могу. — Ой, не надо, не падо, не мучь ты меня! — Ты у меня будешь есть, черт возьми! — Брат, говорю, братец, ради всего святого, не ругайся. — Дьявол ругается, а не я, ешь! — Пришлось проглотить, что оп в рот мне влил. Я и вкуса никакого не почувствовала, а как проглотила, так уж и не жалела, что кормит меня силком, пусть его, пока терпеть могу. — Открывай рот, говорит, не изображай мне тут мученицу, это я и сам умею! Ишь, раскисла! Вот съешь суп, и пойду за доктором. — Я мотаю головой, не хочу, мол, тогда он своей ручищей, как клещами, сжимает мне макушку, и приходится мне опять глотать; цежу я суп, а у самой слезы выступают на глазах от натуги. — Вот видишь, говорит, видишь. Видишь, какая ты. Видишь, видишь. — Посмотрела я на него, а он плачет. Плачет, и у меня слезы в глазах стоят, смотрим мы так друг на друга, у него в руках ложка дрожит, ну а я ему тогда и говорю, мол, оставь ты меня в покое, зачем мне жить? Зачем нам мучить друг друга, зачем? Оставь ты меня в покое. — Не болтай, говорит. Не болтай. Тебе нужно есть. — Тихо так сказал и заплакал, совсем как в детстве, когда накажут его, или заставят чего делать, или с дерева упадет, в точности так заплакал: рот скривился, слезы ручьем, всхлипывает, губу закусывает, а только сдержаться не может, плачет в голос, плечи трясутся, рука его у меня на макушке слабнет и сползает на затылок, он притягивает меня к себе, грудь у него дрожит, и слышу я, как в груди у него плач булькает; плачет он, завывая, захлебываясь, в одной руке так и держит кастрюлю, другой меня к себе прижимает, лбом в свои тощие ребра уткнул.

А я и рада бы заплакать, горло перехватило, слезы в глазах, да не могу, сил нету.

Все торопятся по домам

Мы как раз собирались закрывать кафе, с самого полудня посетителей почти не было; я без дела торчал у выхода, смотрел через занавеску на улицу, на автобусную остановку; сквозь белую прозрачную ткань казалось, что на улице и повсюду кругом идет снег, хотя уже несколько дней стояла слякотная серая погода. От реки поднимался туман. Никто из пассажиров, вылезавших из автобуса, не забегал к нам, как обычно, выпить кофе или пива; с покупками в магазинной обертке они сразу пересекали дорогу и шли по домам. Некоторые еще только сейчас тащили елки. Чахлые, какие остаются напоследок. У меня уже две недели была елка, я купил ее на рынке и вывесил на холод за окно у себя на пятом этаже, а втащил в комнату только сегодня утром, чтобы жена нарядила ее. Обо всем надо заботиться заблаговременно. Я-то уж ученый, не вчера родился, жизнь научила вовремя доставать все, что необходимо. Не люблю я спешки и неопределенности, даже в пустяках. Я и цветные лампочки выложил заранее из прошлогодней коробки. К вечеру придут наши дети с внуками. Купил я кубики, книжку с картинками, куклу, детскую железную дорогу, все, что надо. По душе мне рождественское настроение, люблю праздничный ужин, нравится запах ели в комнате и как горят свечи. Есть у нас и ясельки с гипсовым младенцем Иисусом, а вокруг него гипсовые Мария и Иосиф, волхвы, пастухи, все из гипса, раскрашенные, и еще гипсовый осел, гипсовая корова — словом, весь Вифлеем; сзади, за красным целлофаном, зажигается лампочка от карманного фонарка, очень красиво. Бывало, всякий раз расчувствуюсь, детство вспомню. Потом мы ставим «Тихую ночь», сын как-то принес пластинку, и мы ее всегда проигрываем, а тут тебе и бенгальские огни — право, нельзя не расчувствоваться, сидишь,

а тебя слезы душат, и такую любовь ко всему испытываешь в эти минуты! Вот обо всем этом я и думал, а еще о том, что скоро и дню конец; девушка-буфетчица в пять часов выключила кофеварку, директор подсчитывал кассу, в заднем, «мадьярском», зале мы выключили свет, словом, совсем уже собирались закрывать, как вдруг вошел тот человек.

Ну, думаю, выпьет чего-нибудь на скорую руку и подается домой, как все.

Бог знает, сколько лет ему было: ни стар, ни молод; по виду не скажешь, что живет в достатке, да и волосы болтаются по плечам, сам худой, хилый; борода и усы слиплись от туманной влаги. Остановившись в дверях, он взглянул сперва на меня, потом на девушку за стойкой, кивнул и плотней запахнул пальто; замешкался он у входа, словно выжидая, что его примут здесь с распростертыми объятиями.

Я подошел к стойке — может, спросит чего-нибудь, так чтоб уж сразу и кончить дело, но он стоял молча.

— Кофе я уже не могу приготовить, — заявила девушка.

— Кофе у нас нет, — сообщил я субъекту. — Мы уже закрываемся. Чем могу служить?

— Присесть можно? — спросил он тихо.

Вот присесть-то как раз и можно было, кафе пока открыто.

— Садитесь, — сказал я с неохотой. Думал, заметит. Но нет, он радостно пристроился к столику возле батареи, будто я пригласил его самым разлюбезным тоном.

— Что вам принести? — поторопил я его.

Он кротко взглянул снизу. Ну да меня этим кротким взглядом не проймешь. Видал я таких типов, все они поначалу смотрят так же кротко.

— Вина, — сказал он.

— У нас только в бутылках.

— Да-да.

— По ноль семь. «Абашари», «Фурминт», «Леванька».

— Красного нет?

— Есть и красное.

— Может, его...

— Подай «Кекфранкош», — сказал я девушке.

Она сняла бутылку с полки, подала, даже не протерев. Скривила рот, мол, только этого еще не хватало.

Бутылку я подал на подносе вместе со стаканом. Налил ему вина. Между делом пригляделся к нему получше. Он отогревался, прикрыв глаза и засунув руки себе под мышки; когда я все приготовил, он взглянул снизу вверх и, улыбаясь, потянулся за стаканом.

— Вы оба не выпили бы со мной?

Когда он это произнес, я был уже на пути к стойке. Заметил, что девушка была бы не прочь, но опередил ее.

— Нет, сударь, благодарствуем.

Дело в том, что я кое-что углядел. Рассмотрел, когда этот тип потянулся к стакану.

— Мне бы хотелось, чтобы... — робко продолжал настаивать посетитель.

— Да нет же, нет, господи! — сказал я решительно и поманил девушку придвинуться поближе. Она перегнулась через стойку.

— Посмотри ему на руки!

Девушка взглянула туда через мое плечо.

— Видишь?

— С ним что-то стряслось, — опешив, прошептала девушка.

— То-то и оно!

Я повернулся, полагая, что этот тип опять спрячет руки под мышки. Но ошибся. Он сидел выпрямившись, руки лежали на столе, правда, на этот раз не было видно ни ладоней, ни тыльной стороны кистей, только два сжатых кулака, и все.

— Мне бы хотелось, чтобы вы выпили со мной, — проговорил он дружелюбно.

Я промолчал. Девушка у меня за спиной облокотилась на стойку.

Теперь мужчина смотрел на нее. Ну, думаю себе, смотри, глаза не прогляди только. Она не к таким типам привычная, не тебе чета. Видел бы ты ее ухажеров, подумал я. Или их машины. Видел бы, кто вьется вокруг нее, у стойки отирается. Красивая девушка, перевели ее к нам из какого-то кафе в центре недавно. Я не интересовался причинами, печальству виднее. Она так и притягивала к себе мужчин своими мини-юбками да белыми кофточками с глубоким вырезом.

Я и сам при каждом удобном случае заглядывался на ее грудь. Она сильно красилась, целое состояние травила на парикмахера да на косметичку. Когда, опершись на локоть, она стояла у меня за спиной, меня прямо окутывали ее парфюмерные ароматы. Ну да я уже не мальчик. И вообще меня в тот момент занимало одно: скорей бы уж закрываться!

— Дело в том, что мне некуда идти,— проговорил мужчина.

— Некуда? — осторожно переспросила буфетчица.

— У меня никого нет. Не могли бы мы сегодняшней вечер провести вместе?

— Только не со мной,— отрывисто засмеялась девушка.

— Я имею в виду, мы все. Втроем.

— Вы шутите,— сурово заметил я.

Он ответил не сразу. А сам все смотрит на нас этим вроде бы кротким взглядом.

— Вы думаете, я шучу? А ведь я вполне серьезно...

— Ну как же, именно с вами! — завелась девушка. — А между прочим, сегодня рождество.

— Между прочим? — подчеркнуто насмешливо повторил мужчина.

— Да, между прочим! Не знаете, что ль, сегодня все торопятся по домам.

— Но ведь я только что объяснил, что мне некуда деться.

— Это ваша печаль.

— Вы так считаете?

Я был сыт по горло.

— Пейте же, пейте, господа! Если вам еще пить не вредно. И будьте добры, поторопитесь.

— Уж не хотите ли вы выгнать меня?

Я смолчал, потому что с превеликим удовольствием рывкнул бы: вот именно, именно!

— Значит, сегодня вам не до меня? Даже в такой день?

Раздражало ужасно, что он все только сидел и ни за что не желал прикоснуться к своему стакану.

— А что же делать тем, кому, скажем, как раз сегодня вечером некуда податься? Я у вас спрашиваю,— взглянул он на девушку.

— Почему мне знать?

— Вам это безразлично?

— Мне — да!
— И, по-вашему, говорить об этом не стоит?
— Мне это неинтересно.
— Господи! Беседовать-то с вами мы не обязаны,— сказал я.— Нам надо закрывать заведение.

— Куда вы торопитесь?
— Приходят тут всякие, пристают,— взглянула на меня девушка.

— Ну что вы,— улыбнулся мужчина.— Мне хотелось только узнать, как он устроен теперь, этот мир.

— Именно от нас? И как раз за минуту до закрытия?

Но тот тип молчал и ожидал ответа. Девушка попала на удочку.

— Ну ладно! Мир устроен так, что каждый может найти свое счастье. Очень неплох этот мир! Даже если он вам отчего-то не по вкусу, слышите? Приучает быть ловким. Кому не повезло, пусть пеняет на себя. И не лезет к тем, кто оказался счастливее.

— Ага, значит, вот так!

— Пусть вы один, да мы-то тут при чем? И раз вам почему-то не повезло, с нами обсуждать это нечего.

— Потому что вам это неинтересно, не так ли?

— Не спорь с ним,— остановил я девушку. С меня, в самом деле, было предостаточно.— А вы вот что,— подошел я поближе к тому типу.— Вы будьте довольны, что мы не слишком любопытны. Надеюсь, вы понимаете, па что я намекаю?

Ох, уж этот невинный взгляд! Я разъярился.

— Скажите спасибо, что я не спрашиваю, почему у вас руки в крови!

Он не смутился. Медленно приподнял ладонь, повернул ко мне.

— Вы это имеете в виду?

Посреди ладони зияла глубокая рана. Девушка взвизгнула.

— Я не допытываюсь, откуда это. Хотя мог бы,— сказал я.— Про таких, как вы, можно думать что угодно. Но я вас прошу только об одном, пейте вино и уходите!

Мужчина и бровью не повел, поднял другую ладонь.

— И на той кровь! — охнула девушка. Несмотря на испуг, в голосе ее послышалось и сочувствие. Это тип

заметил и взглянул на нее с благодарной улыбкой. Терпение мое было на пределе, но я сдерживался.

— Ваши раны нас не интересуют! Боже мой, сколько же раз повторять!

— А ведь могли бы и заинтересовать.

— Я не хочу вмешиваться в ваши дела. Повторяю, я только прошу...

— А сами вмешиваетесь. Только не так, как вы думаете.

— ...я только прошу вас, пейте, платите и...

— Вы даже не догадываетесь, что это за раны?

Я знал, от возбуждения я бледен как полотно. Только этого мне не хватало! Я заставил себя успокоиться.

— Не догадываюсь. Возможно, вы поранились случайно. Но, может быть, что-нибудь натворили, и раны не случайны...

— Вам больно? — на этот раз с участием спросила девушка. — Нельзя ли чем-нибудь вам помочь?

Я посмотрел на нее:

-- Мы этих ран не видели! Ему не удастся нас впутать!

Я говорил довольно громко, чтобы и директор вышел из своего кабинета.

— Простите, что здесь происходит?

— Ничего особенного, — произнес я таким тоном, чтобы директор понял: я хочу деликатно избавить его от участия в досадной истории. — Клиент как раз хочет расплатиться и уходит. Мы закрываем.

— Да-да, закрываем, — рассеянно повторил директор. Взглянув на посетителя, он увидел его пораненные ладони, все еще приподнятые над столиком. Слова застряли у него в горле. — Стаканом?

— Нет-нет, шеф, все в порядке...

Я увлек его в сторону и быстро все рассказал. Он то и дело посматривал на этого типа. Когда я растолковал ему, что к чему, он схватил меня за пиджак.

— Взгляните! И рубашка у него сбоку...

Оглянувшись, я тоже увидел, что мужчина распахнул пальто и под ним оказалась рубашка, на которой краснело пятно.

Директор поманил буфетчицу.

— Надо бы позвонить в полицию.

— Сейчас? Да что вы! — начал я унимать его. — Ведь и там не обрадуются, если в такое время... сами

понимаете, в рождественский вечер... Да потом и от нас не отстанут. А дома уже ждут... Черт бы побрал его, как раз к нам занесла нелегкая!

— Ну ладно,— согласился директор.— Тогда выставьте его поскорее.

И поспешно скрылся у себя в кабинете.

А мы с девушкой вернулись к стойке.

Тот тип встал, все еще показывая свои ладони. Теперь хорошо была видна и окровавленная рубашка.

— Эти раны...— кротко заговорил он, но девушка взвизгнула:

— Уходите отсюда!

Второпях я написал счет, сунул ему под нос.

— С вас тридцать два сорок! И уходите, мы закрываем!

— Я только хотел бы напомнить...

— Нечего тут хотеть.

— У меня на ладонях, на ногах и вот здесь, сбоку... В этот вечер...

— Будьте довольны, что в этот вечер нам не хочется ничего знать о ваших делишках! Будьте довольны, что именно в этот мирный вечер... Дошло? В другой раз вам это так не сойдет! Тридцать два сорок и — честь имею!

Тот попытлся, наконец-то опустил ладони. Отсчитал на столике деньги. Мы молча ждали. Силой выталкивать его мне не хотелось, хотя и до этого чуть не дошло. Он пытался к выходу. Мы стояли у стойки, а он все таращился на нас кротко и умоляюще. Я было подумал, что он заговорит снова: у него задержался уголок рта. Но нет, он вышел, не сказав ни слова.

— Ну, быстренько, опусти жалюзи,—скомандовал я.

Девушка помогла навести порядок. В бутылке недоставало тех ста граммов, которые я налил ему в стакан. Они там так и остались.

— Ушел? — заглянул к нам шеф.

— Даже вина не тронул,— показал я.

— Завтра продадим.— Шеф заткнул бутылку и поставил в холодильник.— В завтрашней кутерьме.

— Был момент, когда я его пожалела,— негромко проговорила девушка.

— Вы в своем амплуа, Вероника,— рассмеялся шеф.— Даже таких типов пожалуйть способны,

Мы над этим еще немного посмеялись, после такого напряжения смех очень кстати. На улице стоял гнилой туман. Мы сели в машину директора, девушка впереди, я — на заднее сиденье. Когда мы выезжали со стоянки, я из машины искал глазами того типа, но его нигде не было видно. Исчез, будто не бывало.

Ну а потом, согревшись в машине, я немного успокоился.

1975

История нескольких сосновых досок *

Как-то раз я навестил своего приятеля-хирурга в его загородном доме. Он давно зазывал меня посмотреть, какой дворец он себе отгрохал в излучине Дуная. Я обещал заехать, заглянуть к нему при случае, по все получалось как-то не с руки.

А этим летом, на обратном пути из Вышеграда, я завернул к нему.

Был знойный день, жара не спала даже к вечеру. С шоссе на дороге сворачивала и карабкалась вверх по склону улочка, окаймленная летними домиками. Тщательно подстриженные газоны садовых участков пестрели тентами и шезлонгами, за оградой радовали глаз фруктовые сады, зеленели тенистые беседки; перед воротами или внутри двора, на выложенных бутовым камнем дорожках, ведущих к дому, сверкали под слепящими лучами солнца автомашины, но люди, должно быть, попрятались от жары по домам или же подались к воде, потому что в округе все будто повымерло.

Мой приятель и его жена тоже предавались послеобеденному отдыху, я начал было просить прощения, что появился не вовремя, но хозяева меня успокоили: у них сейчас отпуск, и они бездельничают целыми днями, так что мой приезд как нельзя кстати. Поддавшись на их уговоры, я тоже скинул с себя лишнее — сами они в купальных костюмах возлежали на залитой солнцем террасе, — и для меня нашелся свободный шезлонг. Отсюда, сверху, открывался дивный вид на Дунай. Хозяйка угостила меня ледяным смородиновым сиропом; пришлось после первого же глотка похвалить напиток, приготовленный из недавно снятых ягод (кусты, обобранные дочиста, выстроились вдоль ограды), тем более что хозяева дома и так уже втолковывали мне преимущества домашнего консервирования; в ответ на мои восторги они тотчас же собрались открыть бутылку с вишневым сиропом, но я предпочел кофе.

* © Magvető könyvkiadó, 1979.

Затем, прихлебывая вкусный, крепкий кофе и затягиваясь сигаретами, мы принялись было расспрашивать друг друга о житье-бытье, но приятелю моему не терпелось похвастаться домом.

Мы обошли его сверху донизу.

Двухэтажное строение, небольшое, но удобное и пригодное даже для житья зимой. («На старости лет, глядишь, и вовсе сюда переберемся...») В гостиной была сложена кафельная печь, остальные комнаты отапливались мазутом. На нижнем этаже жилых помещений не было, там разместились гараж и кладовая, так что главный ход вел прямо наверх, через террасу, куда можно было попасть, поднявшись по лестнице ступенек в десять-двенадцать.

— Обрати внимание на перила,— остановил меня приятель.

— Угу,— рассеянно кивнул я, потому что к тому времени уже добрых полчаса осматривал летнюю резиденцию, расхваливая удачную планировку, живописный вид из окна гостиной, со вкусом подобранную мебель, узорные изразцы и деревянные панели на кухне, развешанную по стенам старинную медную утварь.— Как же, как же, вижу: вот они, перила.

— Нет, ты приглядиись получше...

— Сосновые доски.

— Старые сосновые доски.

— Да-да, старые.

— Здесь все новехонькое, все делалось из нового материала, только перила выдержали испытание временем... зато и прочные же они, ты только потрогай, какое крепкое дерево!

— Н-да... Действительно...— Я провел рукой по дощатым перилам и вознамерился было проследовать дальше; в самом деле, что тут особенного, если перила сделаны из старых досок?

— У этих досок своя история,— сказал мой приятель.

— Мы привезли их из родительского дома Иштвана,— вмешалась его жена.— Они просто так валялись во дворе... Но, может, мы все-таки сядем наконец? — Она ласково посмотрела на мужа.— Теперь вы все видели,— обратилась она ко мне.— И надеюсь, позволите опустить описание всех наших сражений с каменщиками и прочими мастерами или, как мы называли их, с

инквизиторам. Постепенно и мы стали забывать все мытарства, связанные со строительством, ну а вам и подавно незачем докучать ими. Принесу-ка я лучше чего-нибудь перекусить.

Я просил хозяйку не утруждать себя, однако она поспешила на кухню, а мы опять разлеглись в шезлонгах.

— По осени снова покрою перила лаком, — чуть погодя заговорил мой приятель. — Если уж они, эти старые-престарые доски, столько пережили всего, постараюсь беречь их подольше.

— Да, хватает вам с домом забот, — кивнул я.

— С лихвой. Но перилам этим — особый почет.

— Да полно тебе...

— Ты даже и представить себе не можешь почему, — поднял он на меня глаза, и я видел, что ему не терпится открыть мне причину.

— Ты разгадал мое любопытство.

— Серьезно? Ну тогда слушай...

*

Начну с того, что, когда дом был в основном готов, мы сильно поиздержались, начал рассказ мой приятель. Поэтому все, что не требовало спешной доделки, мы отложили до лучших времен: так, не стали обносить перилами входную лестницу. Поначалу жена моя тоже не видела нужды в перилах, но после, когда пришлось без конца бегать вверх-вниз по крутой лестнице, стала жаловаться, что у нее кружится голова. «Ладно, — говорю ей, — будут тебе перила». Да только ты и по себе знаешь, как распоряжается человек своими деньгами: на одно урвешь, на другое выкroiшь, и только на самое необходимое никогда не хватает. Так вот и я: наверно, мог бы наскрести денег на кубометр-другой досок, но так и не выбрался на лесопилку. Зимой мы тоже нет-пет да и наезжали сюда; на рождество лестница обмерзла, ступеньки покрылись наледью, жена поскользнулась, но, по счастью, упала в сугроб, зато меня будь здоров как пронесочила за халатность. В праздники мы всегда наведывались к моим родителям, вот тут-то и припомнил я, что дома у нас в сарае свалено под навесом досок и бревен всяких без счету и отец не раз уговаривал брать, что потребуется, не то «отличные доски» так и пропадут без пользы. Должен тебе ска-

вать, что отец все прибирает и все хранит: ржавую цепь, лемех, стертое колесо от тачки, решетчатую бочковину от телеги, подгнившие опоры, замки, засовы, выброшенные за ненадобностью бруски, планки, доски — в надежде, что все это рано или поздно пригодится в хозяйстве. И сколько там его, старья этого! Когда очередной закут оказывается набит доверху, то непоместившиеся вещи не остаются без призора, для них сооружается новое пристанище; добрую половину двора занимают сараи и кладовые. Стекла, гвозди, винты, крюки, проволока, дверные петли, всякие черепки, обрывки ремней и куски кожи свалены как попало среди поломанных стульев, столов, шкафов. По-моему, в памяти отца еще живы те времена, когда даже самым необходимым негде было разжиться и бережливость вызывалась повседневной нуждой; старик и по сей день не велит выбрасывать на помойку хлебные корки, и хотя сами родители скотины не держат, собирают остатки еды для соседских кроликов. Сорняки с огорода и те отец сваливает в корзину, а потом зовет какого-нибудь соседа, чтобы забрал для свиньи... Словом, такой у меня старик. Народ нынче пошел тароватый, любит приговаривать отец, деньгами разбрасываются, что твои графья в прежние времена... Короче говоря, на отцовском дворе, в этом пристанище отжившей свой век всевозможной рухляди, я отыскал восемь досок — целехоньких и годных в дело сосновых досок, неведомо как сохранившихся среди никчемных горбылей и обломков. Лишь по цвету и можно было догадаться об их возрасте: дерево потемнело от времени. Крепкие, прочные трехметровые доски радовали глаз. Отец был счастлив, видя, как я обрадовался находке; что греха таить, ведь сколько раз я его уговаривал не хранить всякий хлам, а теперь вот пришлось выслушать: «Видишь, рано или поздно все пригодится!» Я колупнул ногтем древесину и почувствовал, что доски сухие, прочные, в самый раз подойдут на перила. Грибок их не тронул, и сырость не сгноила. Когда мы разложили доски во дворе, все восемь штук впритык, получилась ровнехонькая площадка — доски плотно, до сантиметра, ложились одна к другой. На каждой из них мы обнаружили по три паза, выпиленных с геометрической точностью, и желобки, куда входили поперечные шипы, скреплявшие доски. Не было сомнения, что доски эти

прежде были подогнаны друг к другу. Ну конечно же, когда-то это был стол, да какой большой: три метра на полтора. А точнее говоря: столешница, которая покоилась на прочно скрепленных по диагонали ножках.

— Ну и ну! — удивился я. — Да это же портновский стол! Выходит, он уцелел?

— Какой еще портновский стол? — спросил отец, ведь портных в нашей семье не было, да и вообще вряд ли он мог вспомнить, откуда взялись эти доски. А ведь эту столешницу разобрал он сам несколько десятков лет назад. В сорок седьмом, возвратясь домой из плена, отец обнаружил ее во дворе позади дома. Помнится, тогда мы объяснили ему, как столешница попала к нам, но все это было так давно...

— Портновский стол, он самый, я же вижу! Тот самый, что привезли солдаты.

— Какие солдаты?

— Русские санитары. В сорок пятом.

— Неужто тот самый?

Отец уставился на стол, не веря глазам.

— Ну да, — сказал я, тоже удивленный неожиданной находкой. В сорок пятом отца дома не было, а когда он разобрал столешницу, не было меня: я жил далеко, учился в колледжуме.

— Леший его знает, с каких он пор тут хранится, — качал головой отец.

— Это он, он, — повторял я; так живо мне все припомнилось. — Тот самый! В сорок пятом его привезли сюда на грузовике. В сорок пятом, к концу зимы...

*

— Взгляни сюда! — приятель мой встал с шезлонга и поманил меня к перилам. — Видишь эти темные пятна? После того, как мой зять, воспользовавшись попутным рейсом, привез мне сюда все восемь досок, я пригласил столяра обстругать их, но в нескольких местах... вот здесь и здесь, видишь?.. остались темные, глубоко въевшиеся пятна. А знаешь почему? Это... и вот это — пятна крови!

*

— Я ведь постарше тебя, — продолжил он свой рассказ, — так что в сорок пятом мне было почти шестнадцать. Отца призвали на фронт, и от него больше года

не было ни слуху ни духу. Это уж потом мы узнали, что в ту пору он давно находился в плену. Я, можно сказать, остался за главу семьи; матери хватало забот с малолетками — у меня были еще две младшие сестренки и братишка, — да и кроме того, она ходила на поденщину, а я работал на мясокомбинате, который по тем временам считался военным предприятием. А потом к нам придвинулся фронт. Немцы за ночь сдали село, больших боев не было, но ночь мы просидели в погребѣ; до рассвета во дворе трещали автоматные очереди, потом пальба стихла. Позднее в наступившей тишине мы слышали скрежет танковых гусениц, шум грузовиков и возгласы русских солдат. Уже совсем развиднелось, когда в дверь погреба громко забарабанили; мать открыла и показала солдатам, что, кроме нее с детишками, тут никого нет. Малышня цеплялась за материну юбку, а последним вышел на волю я. Обут я был в казенные башмаки, сам — рослый не по годам, и солдат ткнул в меня пальцем, решив, что я дезертировал и скрываюсь тут. Недоразумение сразу же выяснилось, однако меня не отпустили, а велели работать; я увидел, что во дворе у нас стоит грузовик с красным крестом, и из него, из-под брезента, выносят раненых. Солдаты — среди них были и женщины — таскали в дом тяжелые ящики, и мне велели им помогать. На воротах у нас повесили какую-то табличку: словом, в нашем доме разместился перевязочный пункт.

Всю мебель, какая была в доме, пришлось перенести в летнюю кухню и в чулан. Потом я натаскал в комнаты соломы; солому застелили плащ-палатками, а сверху покрыли простынями, и через несколько часов полевой госпиталь работал всюю.

На лежачие места положили несколько бойцов, только что раненных, но и с более отдаленных участков фронта привозили солдат с огнестрельными ранами, в пропитанных кровью бинтах.

Немного погодя к дому подкатила легковушка, оттуда выскочили офицеры, и среди них высокий черноусый капитан — как потом оказалось, капитан медицинской службы — в накинутаой на плечи шинели; все остальные не отставали от него ни на шаг, пока он осматривался на новом месте. Капитан отдал какие-то распоряжения и повернул к соседнему дому, который выделили ему для постоя.

Санитары действовали привычно и слаженно. Матери велено было согреть котел. «Нужна горячая вода», — распорядилась молодая пухленькая девушка в военной форме — как мы сообразили, что-то вроде старшей фельдшерицы в медсанчасти. Она попросила таз и корыто; санитары тоже привезли с собой необходимое оборудование — разные сосуды и склянки. Под операционную была выделена кухня. Она у нас была и правда просторная: отец когда-то снес стену, отделявшую кухню от кладовки, и за счет этого увеличил кухню. Пол в кухне был залит цементом; и пол, и бо́льшую столешницу, которую притащили с грузовика двое солдат, матери приказано было отскоблить дочиста и вымыть горячей водой с хлоркой. Когда столешница просохла, ее положили на два наших стола размером поменьше и застелили белыми простынями. Так был оборудован операционный стол, и после обеда на нем уже оперировали раненого бойца-киргиза.

Врач-капитан работал дни и ночи. Мы быстро сдружились с фельдшерами и санитарками, которые находились в его распоряжении, ведь мы — не только мать, но и я — постоянно помогали им. Я перекладывал тяжелораненых, подавал еду и питье выздоравливающим, выносил в ведрах окровавленные бинты и тампоны и сжигал их на дальнем конце двора, за навозной кучей. Вот только с капитаном отношения у нас никак не складывались. Конечно, он не мог не замечать меня, но ничем не выказывал этого; да и вообще это был человек молчаливый. Сколько ему было лет? Пожалуй, до сорока еще довольно далеко. В белом халате, надетом поверх гимнастерки и галифе, он иногда выходил под навес выкурить папиросу. В эти минуты становилось особенно заметно, насколько он замкнут: ни с кем не вступал в разговоры, на приветствия отвечал молча, кивком; однако держался он так вовсе не из заносчивости — если разговаривать все же приходилось, говорил он очень вежливо и как-то по-штатски, словно и не военный человек был.

Нельзя было не заметить: его уважали буквально все.

Мы жили в летней кухне. Мать не раз пыталась позвать к нам капитана, чтобы напоить молоком или угостить кое-чем из домашних припасов, но каждый раз безуспешно: приглашение деликатнейшим образом

отклонялось. Напротив, капитан распорядился, чтобы нас поставили на довольствие, и с тех пор мы кормились из общего котла с санитарями.

Издалека доносилась канонада: фронт где-то застопорился; поговаривали, что к северу от нас идут большие танковые сражения. Один за другим прибывали санитарные фургоны с ранеными.

Запахом хлорки пропитался весь дом и даже двор. Долгие годы спустя мы чувствовали его; стоило матери во время предпраздничной уборки вымыть пол в кухне или комнатах, как едкая вошь дезинфекции волнами поднималась из всех закоулков дома.

Но труднее, чем к этим запахам, было притерпеться к стонам и крикам раненых. Со временем я тоже получил от толстухи фельдшерицы белый халат и целые дни находился при раненых. Я выучил несколько русских слов, так что кое-как мог объясниться с персоналом госпиталя. Иной раз мне удавалось присутствовать при том, как капитан осматривал раненых. Пожалуй, со своими пациентами он становился разговорчивее, стараясь поддержать их добрым словом, придать им бодрости. Теперь, оглядываясь на прошлое, я понимаю: оперировал капитан блестяще, благодаря его заботливому, терпеливому лечению многим удавалось избежать ампутации. Помню, однажды старшая фельдшерица в разговоре с матерью расхваливала доктора на все лады. Капитан пошел на фронт из ленинградской больницы, рассказывала она матери; мать, конечно, мало что понимала из ее рассказа, но кивала и поддакивала девушке — да, мол, хороший человек капитан-доктор, очень хороший человек, уж это точно... Но я-то уразумел из ее слов чуть побольше: что жена капитана тоже была врачом и что она и сынишка погибли во время ленинградской блокады. Правда, и я улавливал смысл сказанного лишь в самых общих чертах...

К зрелищу страданий было трудно привыкнуть. А чего стоили бесконечные эти окровавленные бинты и простыни — словами не описать! И все же именно тогда зародилась во мне мысль стать врачом. Конечно, в ту пору я даже и представить себе не мог, каким образом этого добиться, ведь возможность учиться открылась передо мною позже, когда я был зачислен в коллегium. Но объяснение тому, что впоследствии я избрал именно медицинский институт в Пече, безус-

ловно, следует искать в тех давних впечатлениях от полевого госпиталя.

Как-то раз к нам доставили молодую девушку... Эту историю я должен рассказать тебе. Ее вынесли на носилках из санитарной машины. Девушка была связисткой. Солдаты рассказывали, что рядом с нею взорвалась ручная граната. Когда ее проносили мимо меня, я успел разглядеть ее лицо: бледное, с красивыми, правильными чертами; соломенно-желтые пряди волос на лбу слиплись от крови. Расстегнутая и порванная гимнастерка спустилась с плеча и обнажила ослепительно белую грудь. От пояса и ниже тело девушки было прикрыто, но даже сквозь шинель проступали кровавые пятна. Широко открытыми, испуганными глазами она посмотрела на меня и что-то сказала едва слышно: должно быть, она была в полубморочном состоянии. Мне сделалось до того страшно, что я попятился. В дверях появился капитан; он оторопело взглянул на девушку, издал какой-то странный горловой звук, затем, вопреки обыкновению сорвавшись на крик, принялся отдавать распоряжения, гаркнул на санитаров с носилками, чтобы те пошевеливались; я некстати подвернулся ему под руку — капитан, выругавшись, оттолкнул меня и вслед за носилками бросился в дом.

Я стоял во дворе не в силах пошевелинуться. Санитарная машина умчалась, наступила тишина, нарушаемая лишь отзвуками далекой канонады и квохтаньем кур в птичнике... Не знаю, сколько времени это длилось. И вдруг распахнулась дверь, капитан в забрызганном кровью халате вышел во двор, остановился, жадно глотая воздух; затем он полуобернулся и, кусая губы, стал шарить взглядом по сторонам, явно ища кого-то, а потом нетерпеливо выкликнул чье-то имя. На его зов из кухни выскочил солдат в белом халате. «Папиросу!» — прикрикнул на него капитан. Солдат принялся лихо радочно шарить по карманам; вот он извлек из-под халата пачку папирос, трясущимися пальцами вытащил папиросу и вставил капитану в рот, затем так же суетливо поднес огня. Врач глубоко затаился, затем выплюнул папиросу и в сердцах затоптал ногой. Ругнувшись, он сделал несколько быстрых, неуверенных шагов, остановился и повернул к двери. Но прежде, чем войти, увидел меня. Трудно сказать, сознавал ли он в тот момент, меня он видит или кого

другого, вероятнее всего, ему было безразлично, кто стоит перед ним; измученное лицо смотрело на меня, а потом капитан тихо, по-русски выговорил:

— Скончалась!..

Пригнувшись у низкой притолоки, он вошел в дом.

Изнутри донесся его голос: капитан в свойственной ему сдержанной манере отдавал приказания своим подчиненным.

Тело девушки-связистки, укрытое с головой, позднее вынесли из дома, погрузили в машину и увезли.

Кажется, похоронена она на нашем сельском кладбище.

Через несколько недель госпиталь снялся с места. Капитан — шинель внакидку — еще раз прошелся по двору. Он ни с кем не обмолвился словом — точь-в-точь как в день своего приезда. Мы даже не успели с ним попрощаться, так быстро подошла за ним машина, зато с остальным персоналом распрощались. Я помогал носить и грузить в машину упакованное оборудование, но, когда мы с одним солдатиком ухватились было за столешницу, лейтенант, командовавший погрузкой, махнул нам, что, мол, не надо, столешницу они с собой не повезут.

Так она и осталась во дворе, прислоненная к стене дома.

Мать горячей водой отмыла кровь. Потом мы убрали ее с дороги, а позднее она перекочевала за сваленные позади дома оглобли, бревна и доски самого разного назначения. И, как я уже говорил, несколько лет спустя отец разобрал ее на доски.

*

Хозяйка дома принесла нам перекусить. Солнце клонилось к закату, с гор потянуло приятной свежестью. По Дунаю в сторону Пешта плыл пароход; поравнявшись с пристанью, он издал долгий, протяжный гудок.

— Я включила поливалку, — сказала хозяйка. — Иштван, напомни мне: через полчаса ее надо переставить на другой край газона.

Мы принялись за бутерброды с копченой колбасой и плавленым овечьим сыром, запивая их холодным и терпким красным вином. На соседних участках после полуденной сиесты тоже пробуждалась жизнь. Из-за обвитой жимолостью изгороди женский голос окликнул

по имени хозяйку дома. Соседний участок был хорошо виден с террасы, и жена Иштвана, отвечая, просто перегнулась через перила.

— Сегодня мы не придем, у нас гости! — приветливо отозвалась она.

— В таком случае извините, что помешали! — донеслось из-за ограды. — А нам и невдомек, что у вас гости, не слышали даже, как машина подъехала!

Хозяйка, смеясь, вернулась на свое место и опять стала угощать меня бутербродами. Я сказал, что не хочу стеснять их и скоро уйду.

— Соседи звали нас играть в бридж, — пояснил мой приятель. — Карты от нас не уйдут, а с тобой мы видимся — реже некуда.

— Вечерний бридж — это наше ритуальное времяпрепровождение, — подхватила жена, — если, конечно, по телепрограмме нет какого-нибудь детективного фильма. Знаете, чем хороши карты? Собирается несколько человек, вместе проводят время, и никаких посторонних разговоров помимо игры. Сдают кон за коном, и оглянуться не успеешь, как полночь на дворе. И время скоротали незаметно, и заботами своими друг другу не досаждали.

— С соседями нам повезло, — согласно кивнул и приятель. — Все как на подбор приятные люди, с такими общаться — одно удовольствие. Этим, которые нас сейчас приглашали, мы же и посоветовали купить здесь участок. Глава семьи — заведующий отделом в министерстве. Несколько лет назад мы вместе с ним были в командировке в Советском Союзе и с тех пор сдружились. А когда услышали, что соседний участок продается, сообщили ему. В прошлом году они поставили тут деревянный дом. Все лето проводят здесь и даже на работу отсюда ездят... Что же ты не пьешь, за руль ведь тебе не садиться!

Мы подняли стаканы.

— Я тебе так и не досказал историю этих досок... — начал было мой приятель, но жена перебила его:

— Каких досок, Иштван?

— Тех, которые пошли на перила...

— Ах, вот оно что! Вы знаете, — обратилась она ко мне, — Иштван видит глубокий символический смысл в том, что именно эти доски служат нам поручнями. Обычно мы отдыхаем здесь, на террасе, здесь хорошо

расслабиться душой и телом, а доски эти всегда перед глазами... Впрочем, Иштван лучше расскажет.

— Жена усматривает в этом патетику, но меня это не смущает. Видишь ли, суть в том, что человек слишком легко забывает о прошлом... Нас убаюкивают уют и покой, мы хотим расслабиться, отключиться, отгородиться домашним мирком... Думаю, ты понимаешь меня. Ну а доски эти в моих глазах как бы мемориальные символы, что ли... свидетели истории. Нашей истории, моей истории. В том, что эти пропитанные кровью сосновые доски после стольких лет послужили строительным материалом для мирного дома... или, выражаясь символически, для мирного крова,— в этом я вижу глубокий смысл, как бы наказ помнить о прошлом.

Он умолк, несколько смущенный: скорее всего, побаивался, как бы жена опять не упрекнула его в сентиментальности.

— Да-да, конечно, я тебя вполне понимаю,— поспешил вмешаться я.— Но ты, кажется, хотел что-то добавить к той истории.

— Ах да!.. В прошлом году я снова побывал в Советском Союзе. На конгрессе врачей, в Ленинграде. Тебе приходилось бывать в Ленинграде?

Я кивнул.

— Тогда ты знаешь, какой это прекрасный город. Я не раз восхищался его красотой. Но тут у меня выдалось целых полдня свободных. Я сел в такси и сказал шоферу, чтобы он просто повозил меня по городу. Ты ведь знаешь, такси там недорогое удовольствие. Я уплатил три рубля, по этому можешь судить, что экскурсия была солидной. Вдобавок водитель мне попался очень симпатичный. Узнав, что я просто хочу осмотреть город, он сам стал показывать и многое мне порассказал. Он, как оказалось, коренной ленинградец, рассказывал о войне, о блокаде. О том, какие ужасные девятьсот дней пришлось им пережить — конечно, не всем удалось пережить их, выжить. Он тогда был еще мальчонкой-школьником, семья их отказалась от эвакуации и осталась в осажденном городе. Голодали. Миска жидкой похлебки да горсть крупы... но дети ходили в школу, сдавали экзамены, не отступали ни перед голодом, ни перед вражескими обстрелами... Хотя, конечно, тысячи гибли от голода. При школе у них была женщина-врач, педиатр по специальности, ее сы-

нишка тоже учился вместе с ними. Эта докторша не раз передавала свой дневной паек кому-нибудь из учеников, кто настолько ослаб от голода, что не хватало силепок дойти до школы. Муж докторши был хирургом, служил во фронтовом госпитале. Таксист рассказал, что он хорошо знал их семью, потому что жили они поблизости, а о докторше ему было известно, что она вместе с сыном погибла зимой сорок второго. Их обнаружили под снегом на берегу Невы. Женщина была ранена, вконец обессилела, а мороз довершил дело, прикончив обоих...— Какая она была, эта докторша? — спросил я, вдруг припомнив жену того хирурга-капитана.— Как она выглядела? Молодая? — Конечно, расспросы мои были лишены всякого смысла, ведь я и понятия не имел, как выглядела погибшая жена нашего капитана. Водителя явно удивило мое волнение, однако и ему самому хотелось порыться в прошлом.— Погодите, дайте вспомнить, ведь она столько раз осматривала меня,— сказал он.— Да, молодая, лет тридцать ей было. Верно, вспомнил! Волосы у нее были светлые-светлые, как лен, и глаза голубые. Точно: голубые-голубые, и казалось, они всегда смеются...— А у меня в памяти возникло белое, бескровное лицо раненой связистки, которая умерла на руках у капитана. Я слушал шофера, а сам думал о молодой белокурой связистке.— Андрюшка... так сына ее звали — Андрюшка. Тот тоже был светловолосый, в мать...— А доктор? Хирург? Его вы не помните? — Хирурга не помню,— сказал таксист.— Рассказал бы и про него, да не помню...— Он промчал меня до самого стадиона имени Кирова, сверху далеко было видно водную гладь залива. Мы объездили весь город вдоль и поперек, и наконец он высадил меня на Невском проспекте.

Во время конгресса я познакомился с несколькими советскими коллегами и делегатами из других стран. В перерыве одного из заседаний, в буфете, мы горячо обсуждали только что прослушанный доклад, когда мое внимание привлек высокий, в сером костюме мужчина с седой головой и черными, почти не тронутыми седьмой усами. Небольшими глотками прихлебывая из стакана чай, он молча прислушивался к нашему спору, не вмешиваясь, будто случайно пристал к нашей группе. Я бросил на него беглый взгляд, но тут же повернулся к нему снова: показалось, будто я где-то уже

видел его, хотя, приглядевшись повнимательней, я все же подумал, что ошибся. И несмотря на это — хоть я изо всех сил старался вслушиваться в диспут коллег, — меня не отпускала мысль, что я уже где-то встречал этого человека, но только не здесь, не на конгрессе.

А дебаты меж тем разгорелись вовсю: выступавший на утреннем заседании шведский специалист по хирургии кровеносных сосудов говорил о новейших достижениях, делая особый упор на нынешнюю техническую оснащенность медицины. Никто из участников дискуссии не отрицал пользы техники, но кое-кто из них отметил, что далеко не каждое государство может обеспечить врачам эту самую сверхсовременную технику, поэтому не следует ждать, пока чудо-приборы решат за нас все проблемы, хотя, конечно, в интересах излечения пациентов необходимо каждое техническое изобретение как можно шире внедрять, популяризировать, использовать...

Тогда седой мужчина, допив последний глоток чая, заметил как бы про себя и отнюдь не стремясь примкнуть к общему спору: — Было время, когда я оперировал на портновском столе...

Мне кажется, никто не слышал или не обратил внимания на его слова. Он повернулся, чтобы отнести стакан к буфетной стойке. И тут я опомнился, извинился перед коллегами, рванул след за тем человеком, но миг потерял его из виду. Я искал его в толпе, но он как сквозь землю провалился. Вскоре раздался звонок, и мы вернулись в зал. До самого конца заседания я взглядом искал его среди публики и обнаружил — на балконе, но слишком поздно: я только и успел спросить у своего соседа, кто этот седой человек в сером костюме. — Насколько мне известно, он хирург, — ответил тот, — хотя имени его я сейчас не могу припомнить. Он из старшего поколения, возможно, теперь уже и не оперирует... — Мой сосед больше ничего сообщить мне не мог, тем более что повестка дня была исчерпана и в зале поднялся разноголосый гул. Я попытался перехватить седого мужчину у выхода, но безуспешно.

И даже спросить, где мне его отыскать, было не у кого: имени его я не знал.

На следующий день мы разъезжались по домам. Быстро промелькнуло утро, а там — взмыл самолет,

увозивший нас на родину. Всю дорогу та встреча не выходила у меня из головы, ведь я был уверен, что видел его, того капитана медицинской службы. Уверен? Я и сам не знаю. Но не случайно же он обмолвился в буфете, что оперировал на портновском столе!.. Однако позднее меня стали одолевать сомнения — может, не так разобрал, не настолько уж совершенны мои познания в русском языке. Но тогда почему он показался мне знакомым? В любом случае, конечно, следовало бы с ним заговорить. Хотя могло статься, что он и не вспомнил бы ни меня, ни нашу деревушку, ни те недели, что провел когда-то в нашем доме, ведь даже в ту пору отношения у нас как-то не сложились. Ну а если бы и вспомнил, то что мог бы он мне сказать — после стольких лет? Ах, да-да, ну как же... Потом — вежливый кивок, и все.

*

— Как видишь, — сказал мой приятель, — история все же осталась незавершенной.

Он поднялся, разлил по стаканам вино, мы выпили. Он подошел к краю террасы.

— Чуть-чуть посвежело. Ох, я и забыл тебе напомнить, — обратился он к жене, — пора передвинуть поливалку!

— Давно пора! — вскочила хозяйка. — Сейчас передвину.

Оставшись вдвоем, мы какое-то время молчали.

— И в самом деле... — Приятель задумчиво вертел в руках стакан. — В самом деле, что я мог бы ему сказать? Что помню его... что он жив в моей памяти... повлиял на мою судьбу... что здесь, в моем доме, осталось... стало частицей моего дома то, о чем — если я правильно понял его слова — помнит и он... доски того самого портновского стола, на котором он оперировал... Но ведь то же самое я мог бы сказать солдату-киргизу и многим другим, чьей кровью пропитаны эти доски: смотри, браток, ведь это частица твоей жизни... Да что тут говорить: человек чувствует гораздо больше, чем может выразить словами. Человеческие судьбы — они ведь переплетаются. Ох, как тесно переплетаются! И попробуй их раздели...

Содержание

<i>Е. Малыгина. Человек, отзовись!</i>	3
<i>Летний ресторан. Перевод А. Ковача</i>	7
<i>* Ночная смена. Перевод Н. Дарчиева</i>	12
<i>За городской чертой. Перевод Ф. Машансвой</i>	25
<i>Сквозь дымку. Перевод С. Середы</i>	33
<i>Потом пришли четверо. Перевод С. Солодовник</i>	41
<i>Маша. Перевод М. Погань-Берталан</i>	48
<i>Железнодорожная улица, 7. Перевод М. Погань-Берталан</i>	56
<i>Два Петре. Перевод Ф. Машановой</i>	60
<i>Альберт и его жена. Перевод Т. Гармаш</i>	66
<i>Inter arma. Перевод Ю. Гусева</i>	70
<i>Зимой. Перевод В. Самошкина</i>	89
<i>День седьмой. Перевод И. Юрны</i>	96
<i>В самый разгар. Перевод О. Тарасенко</i>	102
<i>Полночь в доме туриста. Перевод Т. Воронкиной</i>	107
<i>* Посреди Земли. Перевод Т. Воронкиной</i>	115
<i>Чужой на горе. Перевод С. Середы</i>	130
<i>Дивное лето. Перевод С. Солодовник</i>	147
<i>Брат и сестра. Перевод Т. Гармаш</i>	159
<i>Все торопятся по домам. Перевод В. Самошкина</i>	168
<i>История нескольких сосновых досок. Перевод Т. Воронкиной</i>	176

Карой Сакони
ДИВНОЕ ЛЕТО

Составитель Елена Ивановна Малихина

ИБ № 10971

Редактор Е. В. Орлова
Художник Ф. Л. Рабичев

Художественный редактор А. П. Купцов

Технические редакторы В. А. Юрченко,

О. Б. Иванова

Корректор В. Ф. Шестова

Слано в набор 25.03.82. Подписано в печать 27.08.82.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура об. новая. Печать высокая. Услов.
печ. л. 10,08+0,1 печ. л. вклеек. Уч.-изд. л. 10,15.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 136. Цена 1 р. 10 к.
Изд. № 33027

Издательство «Радуга» Государственного комитета
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, 119021, Zubовский бульвар, 17
Ленинградская типография № 2 головное предпри-
ятие ордена Трудового Красного Знамени Ленин-
градского объединения «Техническая книга» им.
Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Госу-
дарственном комитете СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. 198052,
г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

1 р. 10 к.

